

АНДРЕЙ УБОГИЙ



ДОМ

I

Первый дом? Уж не этот ли: мне года три, я в постели — и, согнув ноги углом, натягиваю одеяло между коленями и головой? И тотчас внутри, под шатром одеяла, возникает особенный мир: таинственный, сумрачный, тёплый, уютный. Всё непонятное, даже враждебное — всё осталось снаружи; здесь же, в уюте и сумраке, — только ты сам и твоя сокровенная жизнь...

Не в этом ли и состоит смысл жилища: отгородиться от внешнего мира, столь часто чуждого и равнодушного, и создать собственный мир — тот, в котором ты сможешь не просто согреться или отдохнуть, но сможешь стать самим собой? Поэтому, строя дом — создавая границу меж внешним и внутренним, — каждый, в сущности, строит себя.

Но вернёмся под одеяло, в тот первый дом, который был в жизни каждого. Замечаете, как в нём тепло? А ведь единственной печкой, которая обогревает нас, служим мы сами: наши сердце и лёгкие, наша горячая кровь согревают пространство нашего первожилища. И если, бывает, рука или нога нечаянно выпросталась наружу — мы спешим скорей спрятать её, да ещё плотней подоткнуть одеяло, чтоб холод наружного мира не похищал драгоценное внутреннее тепло. И чем холоднее снаружи, тем лучше, уютней бывало внутри. Помните: в том полумраке под складками, что провисали меж лбом и коленями и порой осторожно касались лица, там даже пространство

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в Калуге. Хирург. Автор нескольких книг прозы. Пишет также критические статьи. Член Союза писателей России. Член Общественного совета журнала "Наш современник". Лауреат премии имени В. В. Кожина за 2004 год. Живёт в Калуге.

и время были иными? Точнее сказать, их — пространства и времени — не было вовсе: они словно ещё не возникли и не отделились одно от другого.

Наверное, нечто подобное было в материнской утробе: и сонный покой защищённости, и отсутствие времени и пространства, и бесконечное чувство доверия тому тёплому сумраку, что нас окружал и хранил. По-настоящему, это и был наш первый дом; а все те дома, что нам суждено будет строить и обживать в течение будущей жизни, окажутся лишь его несовершенными и приблизительными подобиями. Но кто помнит свою внутриутробную жизнь? А вот гнёздышко под шатром одеяла памятно и знакомо любому; если же кто-то и подзабыл, как в нём уютно жилось, так ведь нетрудно и снова построить его.

Вот только, скорее всего, долго вы в этом жилище не пролежите: какая-то дрожь беспокойства вас будет выталкивать в мир. И сложно понять, где источник тоски и тревоги, что понуждает нас выбираться из-под одеяла? То ли это томится сама наша жизнь, чей избыток не помещается в тесном и сумрачном коконе? То ли смутная эта тоска и стремленье вовне есть звучащий в душе отголосок приказа, который услышал наш предок Адам, когда он со своей непутёвой подружкой был изгнан из рая? Или безотчётная эта тревога, порой почти страха, что нас заставляет, отбросив покров одеяла, открыть себя миру, вернуться в него, есть предчувствие будущей с этим миром разлуки? И шатёр одеяла, который, с одной стороны, напоминает о самом первом жилище — о материнской утробе, — и он же пророчит о жилище последнем — о домовине?

Дом из песка, наверное, тоже был в жизни у каждого, уж если не в собственном детстве, так в той песочнице, где увлечённо возились дети иль внуки, или на морском берегу, где мы наблюдали за играми детворы, возводящей песчаные замки.

Солнце было раскалено добела, море лениво накатывало и отступало от берега, пляжный гомон был сонно-однообразен, его нарушали лишь резкие крики разносчиков пива и пахлавы, и ты всегда удивлялся азарту и живости тех загорелых детей, которые, невзирая на пекло, трудились на узкой полоске меж морем и сушей. Да что дети, если порою и взрослые, неожиданно для самих себя впавшие в детство, могли к ним присоединиться и ползать на четвереньках, и загребать песок, и лепить башенки, ровики, стены, а потом вдруг хватать ведёрко и бежать с ним к воде, чтоб поскорей увлажнить быстро сохнувший замок. Но всё же дети в тех играх обычно играли заглавную роль: они указывали родителям, где копать ров, где ставить башню и где проделывать замковые ворота. Словно именно дети, которые ближе нас к раю и сказке, лучше помнят и знают, какими должны быть сказочные дома.

Но дома из песка — всего лишь дома из песка. Хорошо, если ты ушёл с пляжа раньше строителей замка; если же нет — тебе, скорее всего, предстоит стать свидетелем его гибели. И вовсе не солнце, не ветер, не море разрушат его; нет, всё будет куда прозаичнее и беспощадней. Откуда-нибудь возникает ватага безумных подростков. Поразительно, но они возникают всегда и везде, где есть что-то хрупкое и незащищённое, словно эти подростки и существуют лишь для того, чтоб нести разрушение. Индусы сказали бы, что это слуги Шивы, беспощадного и смертоносного божества.

И вот эти подростки, как смерч, проносятся берегом моря, визжа и кривляясь, и, конечно, не только не обегая хрупких башенок, стен и мостов, но как раз норовя на них наступить. И во мгновение ока всё кончено: не успеваешь ни крикнуть, ни двинуть рукой, как замок, которым ты только что любовался, сровняли с песком...

Смерч из подростков, всё так же визжа и кривляясь, уносится дальше, искать новых целей для разрушения, а ты остаёшься сидеть у песчаных руин с таким чувством горя в душе, как будто вот только что, у тебя на глазах не просто разрушили то, что разрушилось бы и само по себе, под воздействием солнца и ветра, но надругались над чем-то священным. В сущности, ты увидел сейчас в сжатом виде сюжет всей истории человечества: то, как в ней разрушение торжествует над созиданием. Сначала строители с усердием

и прилежанием созидают что-либо, а потом с диким визгом проносятся варвары и оставляют после себя руины. Вся человеческая история говорит, в основном, о бунтах и войнах, восстаниях и революциях, то есть о разрушении домов.

Ещё удивительно, что люди продолжают строить дома, что печальный финал, неизбежный для каждого дома (не придут варвары, так вместо них поработают время и силы природы), не останавливает кропотливой работы строителей.

Первый дом, который я осознал, как именно дом, была хата моего прадеда, Дениса Максимовича Попова. Он стоял на нижнем планте (так, по-местному, называлась улица) деревни Выгорное, что на Курщине.

Главное отличие южнорусских хат от северных изб было в том, что строительного леса на Юге всегда не хватало, и дома собирались из тонких, коротких бревёшек, которые приходилось снаружи обмазывать глиной или кизяком: получался гибрид деревянной избы и глинобитной хижины, отражавший ту сложную смесь Юга, Севера, Запада и Востока, какой и являлась вся русская жизнь.

В хате прадеда имелось всё, чему полагалось быть в классической русской избе. Холодные сени с чуланом — и собственно хата, где главной, разумеется, была печь. Располагалась она против двери, и “женская” половина со всеми ухватами и чугунками располагалась именно там, у печи. “Мужской” же угол находился справа от входа, ближе к окну. По-настоящему, в этом — красном — углу полагалось стоять иконам; но безбожное время их не терпело. Впрочем, по материнским рассказам я знаю, что Богородичная икона в хате всё же имелась, она была поднята на чердак, где и пережидала тяжёлое время гонений на веру.

Что запомнилось мне из того недолгого времени, что я прожил в хате прадеда? Воспоминаний не так уж и много, но зато это самые первые воспоминания, и на них, как на фундамент, легли все позднейшие впечатления жизни. Вот глухая зима, я на лавке возле окна — даже маленький, я понимаю, что окно тоже маленькое, — и вижу сугроб во дворе, по которому топчутся куры. И есть в этом зрелище — двор, сугроб, куры — что-то уютное, но и вместе с тем очень тоскливое. Суетно-мелкое копошение кур словно показывает мне, какой может быть жизнь, целиком погружённая в мелкие бытовые заботы, и тоскливо мне именно оттого, что я не желаю себе такой вот куриной и мелочной жизни...

Ещё помню матицу на потолке: она потемневшая, чуть прогнувшаяся, со вбитым крюком, на котором когда-то висела детская люлька. Точно не знаю, качалась ли в той люльке моя матушка и её сёстры, Галя и Света, но потолочную матицу сёстры Поповы видели точно. И, наверное, тоже испытывали от её созерцания такое же чувство покоя и защищённости, что потом, много после, испытывал я, когда тянул к этой матице руку и не верил, что стану большим и смогу до неё дотянуться.

Вспоминается ножка кровати, за которую я ухватился, когда испугался фотографа. Может, я испугался его как незнакомого человека, а может, опасался процесса фотографирования как такового. Дети, как и животные, чувствуют больше, чем могут выразить; вот и мой давний испуг перед круглым, упорно следящим за мной, немигающим глазом фотообъектива выражал неосознанный детский протест против того, чтоб отторгнуть, отнять у меня мой собственный облик. Как будто фотограф вторгался в то сокровенное, чего он касаться не должен; как будто в тот самый миг, как мой взгляд и лицо останутся в недрах фотографического аппарата, я потеряю какую-то часть самого себя. Нет, всё же даром в исламе, иудаизме и в некоторых первобытных культурах существует запрет на изображение человека; ведь образ, отделённый от первоисточника, может стать двойником — и кто знает, в каких непростых отношениях эта копия будет находиться с оригиналом?

Разумеется, в три младенческих года, когда в меня целился глаз объектива, я об этом не думал, но фотографа всё равно опасался. Я стоял, ухватившись за кроватную ножку, и даже думал, не ускользнуть ли мне под кровать — уж очень заманчив был сумрак, где никакой бы фотограф меня не

достал, — но всё же сдержался и выстоял до конца съёмок. Когда же фотограф ушёл, я залез на кровать и начал отвинчивать металлические шарики с её спинки — те блестящие шарики, в которых смешно отражалось моё приплюснутое и расплывающееся лицо.

Хотя, с другой стороны, что я так уж накинулся на фотографию? Даёт она нам много больше, чем отнимает; а всевозможные искажения, приблизительность и неполнота присущи любому виду искусства. В конце концов, на этих страницах, где я пробую воскресить свои воспоминания о доме прадеда в Выгорном, неточностей и огрехов куда больше, чем в том фотоснимке у ножки кровати. Так что спасибо тебе, деревенский фотограф, за то, что ты честно хотел покрасивее снять того мальчика, который спустя пятьдесят один год будет описывать то, как он, ухватившись за ножку кровати, испуганно и напряжённо смотрел в объектив.

Дом Дениса Максимовича был хоть и хатой, но хатой просторной и в целом небедной. И крыт он был шифером, и полы были в нём набраны из широченных досок, и крыльцо было высоким, как бы парящим и над двором, и над проходившею рядом дорогой.

А всего через два дома по нижнему плану стояла хата Нинки, нашей дальней родственницы, жившей одиноко и трудно. И вот это была уже настоящая мазанка, жилище почти первобытное по затрапезности, бедности и тесноте. Ведь мазанка — это плетень из лозы, обмазанный глиной с навозом. Покрыта она была соломой, самым дешёвым строительным материалом тех мест. Помню, издали Нинкин дом походил на этакий гриб под округлой соломенной шляпкой — гриб, на облезлой от времени ножке которого имелось оконце и низкая дверь. Эта дверь, утеплённая, чем только можно, — одеялом и старой фуфайкой, драной клеёнкой, полосками войлока — была ещё, для надёжности, перехвачена крест-накрест прибитыми брезентовыми вожжами, иначе всё то, что висело на двери, непременно осыпалось бы с неё. Глянешь мельком на эту дверь, — а такие, обитые разнообразным тряпьем, двери были у многих, — и она вдруг покажется спиной ветхой, согбенной старушки, которая сунулась в хату да ненароком застряла в дверном проёме.

Дверь открывалась с кряхтением и жалобным скрипом. В полутёмных сенях стояли вёдра с водой — колодец на низах огородов у речки, из которого их наполняли, так и назывался “Нинкин”, — а затем раздавался скрип ещё одной двери, которая вела в саму хату. В жаркий полдень, — а я заходил туда только летом — так приятно ступать босыми ногами по земляному прохладному полу!

Что было в той хате? Печь, лавка, стол, ворох тряпья на кровати в углу да окошко размером в четыре ладони. Вездесущий картофельный запах исходил и от чугунка, что стоял на загнётке печи, и от ведра возле входа, в котором была всё та же картошка, но только помельче, ждала, когда её потолкут курам или поросёнку. И хоть мебели в этом жилище почти не имелось, но было так тесно, что не повернёшься. И это ещё на дворе стояло лето; а что же творилось зимой, когда всё свободное место возле печи бывало завалено мёрзлой соломой? Ведь больше в тех курских краях топить нечем — дрова или уголь раздобыть трудно, — и только солома спасала людей в холода. Топка печи набивалась её золотистым, шуршащим, ломавшимся ворохом; потом подносился огонь, и этот соломенный ворох сначала наполнялся молочным дымом, потом в дыму промелькивал алый, трепещущий проблеск, а потом вдруг и печь, и вся хата озарялись враз вспыхнувшим пламенем! Какое-то время докрасна раскалённые стержни соломы ещё сохраняли свою хрупкую архитектуру, но скоро рушились, и в топке печи оставался лишь слой невесомого серого пепла.

Не берусь даже сказать, сколько охапок заиндевелей соломы приходилось Нинке затащить в хату, а после затащить в печь, чтобы хоть сколько-нибудь протопить своё занесённое снегом жилище. Но хорошо представляю себе, как гудел жаркий огонь, бросавший алые блики на гору соломы, лежавшую возле печи, как искры летели в трубу, а хозяйка, отворачиваясь от жара, заметала в совок те дымные красные брызги, что вылетали из топки

и падали на пол. Ещё хорошо, что полы в той хате были земляными, а стены — глиняными, а то бы Нинкина хатка не пережила при топке соломой и одну зиму.

На чём только держалась тогдашняя деревенская жизнь! На каких-то курушках-гнилушках, верёвочках, щепочках, на соломе и на коровьем навозе, на ивовой лозе и на глине, на полусопревшем тряпье — на чём-то таком, что уже и само было почти прахом. И сколько стояло таких вот, как Нинкина, хат — с земляными полами и кровлями из соломы, с дверьми, утеплёнными всяким случайным тряпьем, и с одинокими бабами, что коротали в них долгие зимы...

Пожить в хате прадеда мне довелось недолго. Мне ещё не исполнилось пяти лет, как я вместе с родителями переселился в другие места, и вместо привычных стен хаты жизнь продолжилась в стенах кирпичного дома. Я бы, может, и вовсе не вспомнил об этом переселении, — мало ли где, кто, когда и как жил? — если бы ныне, полвека спустя не увидел, насколько всеобщим, охватившим не только страну, но и всю нашу планету, было подобное перемещение. Повсеместный исход в города и разрыв с традиционными формами жизни стал всечеловеческим и глубоко драматичным событием. Всюду, на всех континентах, люди оставляли дома, в которых она появились на свет и в которых жили их предки, чтобы в новых домах и на новых местах искать себе лучшую долю.

Ну, а в нашей стране, в середине XX века — в стране, только-только пришедшей в себя после великой войны, — для молодёжи села казалось и вовсе невыносимым: как это можно остаться жить там, где жили их деды и прадеды? Конечно же, надо как можно скорее уезжать — на комсомольские стройки и на освоение целинных земель, в далёкие и малящие города — туда, где начнётся иная и непременно счастливая жизнь. Вот и мои мать с отцом — к тому времени уже молодые врачи — и думать не думали остаться жить там, где выросли.

И, не успев толком обжиться в хате прадеда в Выгорном, как вместо стен, обмазанных глиной, вместо печи и лавки в красном углу, вместо тёмных прохладных сеней, вместо кур, копошащихся под окном во дворе, вместо гудения пчёл, вместо крыльца и дороги, чьи колеи тянулись по-над огородами и исчезали у речки, в кустах ивняка, — вместо всего этого я оказался в непривычной мне обстановке “городской” квартиры.

Я взял “городская” в кавычки, потому что наш новый дом стоял тоже в селе, но он был новым, построенным для докторов той больницы, куда приняли на работу моих родителей. Обстановки той тесной квартирки, где мы прожили около года, я не запомнил, но думаю, она была точь-в-точь такой, как и обстановка следующей квартиры, куда мы переехали вскоре: тоже двухкомнатной, в панельном и тоже недавно построенном доме, но располагавшейся уже в близлежащем пригороде Калуги.

Вообще шестидесятые годы прошлого века (когда и происходили все переезды нашей семьи) питали стойкую неприязнь к укоренённому, основательно-прочному быту. Бескорневая, скользящая жизнь “на колёсах” считалась единственно правильной; поэтому и обстановка жилищ в идеале должна была быть такой, с которой можно расстаться без сожаления и в любую минуту. Старые вещи, те, что сейчас помещают в музеи, — буфеты, трюмо и старинные зеркала, комоды и стулья с гнутыми ножками — решительно выбрасывались на свалки, а их место занимал яркий пластик, тогда только что появившийся в обиходе и пришедший очень по вкусу эпохе. Журнальные скользкие столики, торшеры и кресла-кровати да ещё чемодан и непрямая раскладушка в углу — то есть вещи, необходимые для полукочевой жизни, — вот из чего в основном состояли интерьеры квартир шестидесятых годов. Да и сами хрущёвки — дома из бетонных панелей, возводившиеся так же быстро, как быстро сменяли друг друга жилыцы в одинаковых и неуютных квартирах, — казались какими-то одноразовыми: трудно было представить, что в этих безликих серых коробках могло вырастать поколение за поколением и наполнять пространства хрущёб полноценной, весомой и самодостаточной жизнью.

Но нет худа без добра. Не окажись я вдруг ещё в раннем детстве в пустынно-невыразительной обстановке городских квартир, разве смог бы я с такой остротою почувствовать всю красоту и богатство природы, которая окружала новые наши жилища? А природа — и в старинном селе Ахлебенино, где мы поселились сначала, и в пригородной деревне Бушмановка, куда переехали после и где живём по сей день, — природа воистину удивительна. Ахлебенино — это былинный простор окской долины, блеск широкой реки меж крутых берегов, это ветер над соснами около дома, это булыжник старинного тульского тракта, который спускался к Оке, пересекал речку Ужередь и тонул в летних травах и медовых запахах поймы. Возможно, что и во всей Центральной России найдётся немного мест, сравнимых по красоте и приволью с этим участком поймы Оки, который называется Калужско-Алексинский каньон.

У природы Бушмановки тональность иная. Здесь всё камерней, мягче, интимней; но мне, прожившему здесь полвека, созвучней вот именно эта интимность. На восточной калужской окраине город почти незаметно переходит в деревню, а она — в долину бушмановского ручья. И вот эта долина — мы, дети Бушмановки, называли её “овраг” — была совершенно чудесна своей живописностью, обилием укромно-таинственных мест, чистотою журчащего на перекатах ручья, причём в нём водились пескарки, вьюны и карасики, словом, овраг был для детворы, живущей на его берегу, подобием рая. В нём оказалось собрано едва ли не всё то прекрасное, что есть в среднерусской природе: земляника на солнечных склонах, песчаный обрыв над ручьём, тень старой берёзы, которая в ясный ветреный день пятнает траву зыбкой рябью, трясогузка на мокрых камнях переката, гудение пчёл над соцветьями луга, таинственность влажной ольховой урёмы — и всё это было доступным и близким для нас...

И вот именно там, в райских куцах оврага, я приобрёл первый строительный опыт: мы вместе с Юркой Марушкиным начали строить шалаш. Нам было тогда лет по десять; ни знаний, ни навыков у нас, разумеется, не было никаких, но уверенность в том, что шалаш нам необходим и что мы сможем построить его, стояла в нас твёрдо и несокрушимо.

Ведь именно с шалашей, укрытий из веток и листьев, как бы растворённых в природе, сливавшихся с ней, и начиналась строительная история человечества. Конечно, построить шалаш куда легче, чем вырыть землянку или обжить пещеру — недаром донные народы, оставшиеся на первобытной стадии существования, живут в шалашах. И в детстве, пожалуй, любого из нас был свой шалаш — своего рода напоминание о детстве всего человечества.

Природа — она порой благоволит своим детям — сама помогала нам строить. Одна из берёзок, надломившись у самой земли, упала вершиной в развилку соседнего деревца так, что несущая балка кровли уже была нам готова. Оставалось лишь обломать или отогнуть лишние сучья снизу, а поверх упавшей берёзки набросать веток с листьями. Этим мы с Юркой и занимались весь летний день — день, полный шелеста, треска ломаемых веток, гудения мух и шмелей, вспышек солнца в прорехах берёзовых крон и полный чудесного, чуть горьковатого запаха вянущих листьев.

Шалаш на глазах становился пышнее, а лаз, который вёл внутрь, делался всё таинственней и привлекательней. Туда, в этот лиственный сумрак, мы натаскали травы и наломанных веток, так что скоро мы и сами едва могли втиснуться в щель меж подстилкой и кровлей. Но тесно там было, пока мы не умяли подстилку; зато после, когда мы смяли её локтями, коленями, спинами, внутри получилось что-то вроде гнезда. Залезая в пахучую и шелестящую гущу листвы, мы оказывались внутри природы в самом буквальном смысле этого слова: вокруг нас шуршала, гудела, дышала и ползала сама жизнь. В летнем её изобилии намешано столько всего, что твоих юных чувств не хватало уловить и заметить все эти оттенки, детали и мелочи слитно гудящей вокруг тебя жизни; но хорошо помню то состояние восхищённого изумления, которое переполняло мою десятилетнюю душу. Ни до и ни после я не оказывался настолько в природе и не бывал с ней настолько един, как тогда, в шалаше, когда даже моё дыхание передавалось веткам и

листьям, и порой чудилось: шалаш дышит вместе со мной, поэтому весь этот пышный лиственный ворох, пронизанный иглами солнца, есть продолжение меня самого.

Выражение “рай в шалаше” стало с тех пор мне понятно в самом прямом его смысле: именно в том, что в шалаше — рай. И этот рай оказался нам явлен на излёте ангельских лет: мы стояли уже на пороге подросткового, сумрачно-беспокойного возраста. Совсем уже скоро надвинутся гормональные бури, дабы затмить безмятежное небо детства и надолго, чуть ли не на всю жизнь, погрузить нас в мир смутных желаний.

Но в то чудесное лето мы ещё оставались детьми. Затаившись, мы тихо лежали в укромном своём шалаше и даже разговаривали, помнится, шёпотом, чтобы не нарушать равновесия мира. Порой я задрёмывал или, точнее сказать, погружался в то зыбкое состояние между явью и сном, когда не можешь понять: реальности или сонному вымыслу принадлежит то, что тебя окружает? Мир терял разделённость и чёткость и превращался в смутную смесь, в которой ты сам находился везде — и нигде: потому что ты сам был нечётко, размыт и непрерывно перетекал из себя самого в окружающий мир, и обратно.

Вдруг в ту блаженную дрёму, — возможно, она была чем-то сродни индуистской нирване, — врвались грубые и чужеродные звуки. Ты слышал глухой приближавшийся топот и треск — он отчётливо передавался подрагивавшей земле — я слышал тяжкие, как бы страдающие вздохи, а следом — мычание. И ты, даже сквозь сон, понимал: приближается стадо. Не то, чтобы мы боялись коров, — нам, жителям деревенской окраины, они были хорошо знакомы, — но нас пугала та неотвратимая мощь, с которой через трепещущий березняк тяжело двигалось стадо. Душа понимала: так грозно и неотвратимо может двигаться только что-то огромное, превосходящее все наши силы, — например, время или судьба, — поэтому мы лежали, оторопев, ни живы, ни мертвы, и надеялись только на то, что коровы, быть может, обойдут наш шалаш стороной.

Но стадо накатывало на нас, как лавина. Земля дрожала от топота; березняк, сквозь который ломались коровы, трещал; а гул оводов, постоянных спутников летнего стада, нарастал до злобного воя. И вот — как сейчас, помню эту секунду — шалаш затрещал, накренился, и сквозь стену из веток и листьев к нам просунулась шумно сопящая и слонявая морда! Не помня себя, мы выскочили из шалаша прямо сквозь его противоположную стену и понеслись без оглядки, не разбирая дороги и не чувствуя веток, хлеставших нас по лицу.

А ныне, вспоминая тот детский шалаш, так быстро павший под натиском деревенского стада, я думаю: а ведь это и было нашим изгнанием из рая — изгнанием в тот мир, где нам никогда уж не будет так безмятежно и так хорошо...

II

Была у меня, как и у многих, ещё и бездомная юность. Закончив школу, я уехал в Смоленск, поступил там в медицинский институт и шесть лет прожил в общежитии.

Различного рода общаг тогда было множество: можно сказать, вся страна представляла собою громадных размеров общагу. Всюду кипела густая и слитная общая жизнь, раствориться в которой было и страшно, и в то же время желанно. Даже если не брать в расчёт общежития как таковые, ещё были и коммуналки, и гостиницы с шестиместными номерами (“где койка у окна, — как пел поэт, — всего лишь по рублю...”), и пионерские лагеря, где молодёжи страны с малых лет прививали навыки “коммунистического общежития”, и воинские казармы, разом вскидывавшиеся по команде: “Р-рота, подъём!”, и лагеря за колючей проволокой, где едва ли не главное испытание для заключённых — невозможность хотя бы недолго побыть одному.

А поезда — особенно те, что назывались “рабочими”? Сколько раз, вытянувшись на третьей багажной полке, я из-под крыши вагона наблюдал

коловращение лиц, затылков, шапок, рюкзаков, сумок, корзин, той порою, как медленный поезд, запинаясь на каждом столбе, вёз людей в утренний город — на службу, на учёбу и на работу в заводские цеха. По проходам и по отсекам вагона кипела неразделимая общая жизнь; да и сам утренний поезд казался единым живым существом, по сочлененьям которого туго двигалась слитная масса людей.

А автобусы или троллейбусы в час пик, когда втиснуться в их двери представляло почти акробатическую задачу? Внутри, между взмокших от давки и духоты спин и грудей, ты не мог ни свободно вздохнуть, ни подвигнуться, и ты уже был не ты, а частица огромной, кряхтящей и трудно вздымающейся массы, которую тряс, трамбовал и куда-то тащил завывающий от натуги автобус. И, если бы ты сейчас поджал ноги, тебе не дала бы упасть та людская толпа, частью которой ты и сам являлся на время общего, так сплотившего всех путешествия.

Но вернёмся в общагу. Та, где ты жил первые годы учёбы, была огромна и сумрачна, и её хорошо знал весь город. Она возвышалась над его восточной окраиной, словно крепость, хранившая общую жизнь. По сути, общага сама являла собой целый город; порою даже мерещилось, что она превосходит своей глубиной и сложностью тот город, на краю которого она высилась своей сумрачной пятиэтажной громадой. В ней было всё, что необходимо для жизни: не просто комнаты с койками, но ещё и столовая, библиотеки и кухни, читальные и спортивные залы, переговорные телефонные пункты, в подвале даже располагался стрелковый тир, так что можно было бы, в принципе, целые годы прожить, не выходя из общаги наружу.

Но вот если сейчас я спрошу самого же себя: “А была ли общага, по-настоящему, домом?” — мне будет сложно ответить на этот вопрос. Конечно, с одной стороны, это дом, да ещё какой дом: он служил многолетним приютом для сотен, если не тысяч людей. Громаден, могуч — и, казалось бы, несокрушим.

А с другой стороны — нет, всё же, не дом. Потому что понятие “дома”, которое мной впитано с детства — ещё с хаты прадеда, с Нинкиной мазанки, с шалаша и с походных палаток, — включало, прежде всего, ощущение дома как места, где ты можешь быть самим собой: можешь молчать или думать, читать или спать, предаваться радости или печали, не беспокоясь о том, что твоя частная жизнь происходит на чьих-либо глазах и в чьём-либо присутствии, и тебе ежеминутно приходится делать поправку на эту назойливую публичность. Уж какая там частная жизнь, когда, может быть, главной целью общаги и было её подавление, а главное желание — превратить и смешать всё разнообразное множество частных жизней и судеб в едином котле, в нераздельном единстве безликого общего существования?

Мучительная проблема: решить, наконец, что же это такое — “общага” и как нужно к ней относиться? Она дом — или всё же не дом? Благо — или опасность? И кому нужно верить: общаге — или себе самому?

И вот этой мучительной двойственностью отношений с общагой наполнилась вся моя юность. С одной стороны, я боролся с общагой, как только мог, — боролся за право на одиночество и независимость, за право оставаться собой, — а с другой стороны, я любил в ней всё то, чего мне самому так недоставало: любил её мощь, её сумрак, её глубину...

Сейчас, с расстояния в жизнь, я вижу, что в нашей общаге даже пространство и время были особыми. Глубокие сумерки, что обычно царили в общаге, словно превосходили собою объём, который занимало это пятиэтажное здание, и добавляли к трём привычным пространственным координатам ещё и свои, необычные и необъяснимые. Входя внутрь общаги, я нередко испытывал некий озноб погруженья в иное пространство, не имеющее ни чётких границ, ни определений, — пространство, постоянно творящее само себя и само себя превосходящее. Находясь внутри этих сумерек, я не мог точно сказать, где же именно кончается наша общага, но догадывался, что она продолжается чуть ли не бесконечно. Прожив в ней несколько лет, исходяв её вдоль и поперёк, я не только не побывал во всех её комнатах и закоулках,

укомных углах, но я чувствовал, что, по мере погруженья в общагу и изучения её сумрачных недр, область неизведанного и непостижимого лишь расширяется.

Кроме загадок пространства, общага хранила и тайны времени. Если снаружи время двигалось, большей частью, линейно — из прошлого в будущее, вскользь касаясь неуловимого настоящего, — то внутри общаги время двигалось, скорее, по кругу. Дни, недели и даже годы здесь повторяли друг друга, и в этом циклическом круговороте сохранялся такой монотонно-дремотный уют, что само время, казалось, засыпало от собственного коловращения и больше не видело разницы меж настоящим, прошлым иль будущим.

Условным началом суток общаги можно считать шесть утра — время, когда во всех комнатах начинал звучать государственный гимн. Интересно, что радиоточку нельзя было выключить полностью — даже при повёрнутом до упора регуляторе громкости какой-то остаточный звук всё равно был слышен, — и зов гимна, пускай и негромкий, но раздавался во всех без исключения комнатах. И этому зову трудно было противиться: тяга могучего гимна словно выдёргивала из тишины всю сонно вздыхающую общагу. Ещё не смолкали последние такты — “нас к торжеству коммунизма ведёт!” — как гимн заглушался пробуждающимися голосами и скрипом кроватей, стуком дверей, гудением кранов на кухнях и в общих сортирах, топаньем или шарканьем множества ног в гулких утренних коридорах. Всё громадное тело общаги, кряхтя, потягиваясь и зевая, пробуждалось к очередному дню.

Всего оживлённее становилось на кухнях, где шумела вода, выли трубы и звучала всё нарастающая разноголосица. В сумерках кухонь, — а там всегда было сумрачно, даже при тлеющих под потолком тусклых лампах, — синими газовыми цветами мерцали горелки, на которых стояли кастрюли и чайники. И там, на утренних кухнях, где были одни только плиты, обитые цинком столы да синие стены в облупившейся масляной краске, — там ощущался какой-то особый уют неуюта. Да, здесь зябко и голо, здесь некуда присесть, разве что на подоконник или на холодный цинковый стол, но здесь царил совершенно особенный и необъяснимый покой. И если б не нужно было зубрить анатомию, ожидая зачёта по какой-нибудь ненавидимой всеми студентами височной кости, я бы так и оставался на кухне, наблюдая, как сонные (и оттого ещё более милые) девушки спуют здесь меж плит и кастрюль...

После утреннего оживления общага надолго стихала: её обитатели разбегались по клиникам, кафедрам и лабораториям. Лишь к вечеру комнаты и коридоры опять наполнялись студентами, на кухнях опять зажигались горелки, свистели чайники и кипели кастрюли, и жизнь возвращалась в огромный и сумрачный дом. Большинство студентов вечера проводило в читалке институтской библиотеки, распадавшейся в той же общаге. В гулком зале с колоннами столы были расставлены так просторно, что даже негромкие разговоры почти не мешали соседям, и читалка поэтому становилась местом встреч и знакомств, перераставших порою в студенческие романы. Как было не поинтересоваться у хорошенькой девушки, читающей “Анатомию” под редакцией академика Привеса, о сдаче ею очередного зачёта или о том, что она собирается делать в субботу?

Впрочем, воспоминания о девушках могут нас завести далеко, поэтому лучше вернёмся к тому, как текли сутки в общаге. Вечер оставался здесь главным временем: именно по вечерам всё громадное здание оживало вполне. Студенты сновали из комнаты в комнату, взрывы хохота раздавались то там, то тут, в торцах коридоров скучивались компании и порою звучала гитара, а на многочисленных лестницах — их было восемь — обнимались и целовались влюблённые парочки. Тогда, вечерами, общага почти забывала о том, как она стара, потому что её коридоры и комнаты, кухни и лестницы наполняла юная жизнь. И этой томящейся жизни не хотелось ни сна, ни покоя; даже государственный гимн, что ровно в полночь гудел по всем комнатам из радиоточек, не мог её утомить, и по ночным коридорам и лестницам ещё долго звучали шаги, голоса и гитары...

Существовали в жизни общаги и недельные циклы, апофеозом которых были субботние танцы. Тогда читальный зал преображался: столы и стулья сдвигались к стенам, в углу устанавливался магнитофон с колонками, и в тёмных окнах читалки отражались уже не затылки и спины зубрящих студентов, а содрогаящаяся в общем танце толпа. В зал тогда трудно было войти: из-за тесноты, духоты и ещё из-за того, что ритмичная громкая музыка непрерывно утрамбовывала и так уже плотно сгустившееся пространство. А протиснувшись внутрь, невозможно было не двигаться вместе со всеми, не разделять с толпой её исступлённых конвульсий. В оглушительном грохоте и темноте, озаряемой вспышками беглых огней, больше не существовало отдельных людей — только слитная плазма толпы, которая сокращалась, дышала и двигалась в собственном ритме, — и ни смысл, ни конечная цель этих судорожных движений не интересовали никого из танцующих. Ни одно из событий, происходивших в общаге, так не сближало, не спланивало и не уравнивало людей, как эти субботние танцы, в которых мистерия коллективного существования достигала предельной, оргазменной точки. По сути, в том завывании, рёве и грохоте, в той темноте, прерываемой вспышками, в той духоте, от которой по стёклам чернеющих окон струилась вода, происходило грандиозное совокупление общаги с самою собой; и толпа в этой оргии общего танца становилась и жертвою, и насильником одновременно.

И ничего, что старые стены общаги дрожали от топота ног и от грохота музыки, угрожающей вышибить стёкла; всё, что происходило сейчас в её недрах, служило лишь к укреплению духа общаги — того, что невидимо жил среди этих сумрачных стен, перекрытий и лестниц и что наполнял не одни только комнаты и коридоры, но и юные души питомцев громадного дома. Даже потом, уже за полночь, когда музыка затихала, разогретые танцами парни и девушки никак не могли разойтись: слишком тесно и долго они танцевали и уже не хотели вернуться в знобящую пустоту одинокого существования.

Из читалки расходились всё больше парами, взявшись за руки или в обнимку, пошатываясь от духоты, от вина, от усталости и ещё от предчувствий того, что их ожидало. Молодёжь разбрелась по комнатам, по укромным углам, по площадкам ночных чёрных лестниц и там отдавалась тому, чего желал через их молодые тела и души невидимый дух общаги...

Как вершиной недельного цикла общаги были субботние танцы, так вершиной годичного круга служило “ношение покойника”, совершавшееся ежегодно, в ночь на четырнадцатое января.

Сейчас даже трудно поверить, что это действительно происходило, а не привиделось в снах. Как, каким образом в недрах огромного здания, погружённого в недра советской эпохи, разворачивалось настоящее карнавальное действие, чьи традиции восходили чуть ли не к карнавалам Средневековья? Может, какую-то роль здесь играла латынь? Ведь язык студизосов средневековой Европы почти непрерывно звучал в этих стенах — студенты зубрили учёные фразы и термины, — и это усердное их бормотание, напоминавшее заклинания на колдовском языке, словно переносило общагу на много столетий назад.

Задолго до полуночи в коридорах, на лестницах, в комнатах общежития уже ощущалась дрожь нетерпения. “А покойника будут сегодня носить?” — случалось, спрашивал неопытный первокурсник, ещё только вживавшийся в мир общаги. “А как же? — отвечал ему кто-нибудь из старожилов. — Вот погоди, сам всё увидишь...”

Устраивал карнавал выпускной шестой курс, передавая преемникам эстафету традиции, чьё зарождение терялось во мгле прошлого. Ближе к полуночи то нетерпение, что томило питомцев общаги и наполняло их почти электрическим напряжением, превращалось в глухой и невнятный, но с каждой минутой нарастающий гул. Этот гул расширялся и рос, заполнял собой целый этаж, где и разливалось карнавальное действие.

Полуголый “покойник” — студент в простыне, со свечою в руке — плыл над головами, лёжа навзничь на двери, которую сняли с петель; а за ним голосила, кривлялась, плясала толпа бесновавшихся ряженых — “доктор” в халате, надетом на голое тело; толстый “священник” в рясе из одеяла,

с самодельным “кадиллом” в руке; пять-шесть “русалок” в купальниках, извивавшихся соблазнительно и откровенно; даже “смерть” — на костлявой груди её углём были нарисованы рёбра, лицо с помощью краски превращено в подобие черепа, — и этот полускелет-получеловек едва ли не живей всех отплясывал посреди лихорадочной и испуганной толпы...

Карнавал, распаясь всё более, перетекал с этажа на этаж. “Покойника” уже пару раз уронили, но вновь уложили на дверь. Вязкая масса толпы протискивалась по лестницам и коридорам, затекала в те комнаты, что оказывались открыты, и переворачивала в них всё кверху дном; потные лица участников карнавала становились всё более ошеломлённо-безумными, движения — всё более взвинченными и непристойными. Время от времени в коридорах гас свет, и тогда только редкие свечи озаряли путь карнавала, бросая на стены громадные зыбкие тени и превращая всё действие в подобие то ли кошмарного сна, то ли грёз воспалённого воображения.

Что это было? Чего так испуганно желало и куда двигалось всё это множество возбуждённых студентов, от криков которых и топота ног содрогались стены старого здания? Как будто те скрытые силы общаги, которые целый год в ней дремали по тайным углам, сейчас, в эту полубезумную ночь карнавала выходили наружу, вселяясь в людей. И все те, кто впускал в свою душу сакральные силы общаги, становились причастны чему-то настолько глубинному, древнему и первобытно-могучему, что отдельная, частная жизнь человека уже не имела значения перед этой клубящейся общей жизнью. В карнавальную ночь люди переставали быть сами собой, они надевали личины и растворялись в безумии и одержимости общего существования...

Но, что важно, — такое могло происходить лишь внутри дома, под защитой его крепких стен. Как, кстати, и карнавалы средневековой Европы: лишь теснота городов, защищённых стенами, позволяла их жителям так распускаться, безумствовать и расставаться на дни карнавала с самими собой и привычную жизнь, потому что, по сути, всё это было лишь детской игрой внутри крепких стен дома. Свобода — в том числе и карнавальная — рождается лишь изнутри несвободы; чтоб нарушить запрет и границу, прежде всего, нужно эти запрет и границу иметь.

Вот и студенческий тот карнавал мог происходить только в здании старой общаги, в её герметически замкнутом мире.

На время экзаменов в общежитии наступало затишье: только шёпот усердной зубрёжки слышался в комнатах и между колоннами читального зала. А в пору летних каникул общага и вовсе пустела; лишь те бедолаги, что не сумели сдать сессию и ожидали переэкзаменовки, неприкаянно и одиноко бродили по коридорам.

Основная же масса студентов летом разъезжалась по стройотрядам. В самых дальних углах Смоленщины тогда появлялись парни и девушки в куртках защитного цвета, с нашивками на рукавах в виде факела или чаши со змей; и в пустующих избах или сельских школах на два летних месяца возникали как бы филиалы общаги. Молодёжь пока была бледной после сессионной зубрёжки, но уже очень скоро лица, плечи и спины студентов покрывались здоровым рабочим загаром, а учёная медицинская заумь выветривалась из опустевших голов.

Наш стройотрядовский быт, сколько помню, всегда оставался предельно простым: ничего, кроме койки да сортира надворного типа эти летние мини-общаги нам не предлагали. Да и до быта ли нам тогда было, если мы вечерами падали на кровати без чувств, как убитые? После двенадцати-четырнадцати часов, проведённых на стройке, стоило только закрыть глаза, как чуть ли не тут же раздавался трезвон будильника, поднимавший нас к новому трудовому дню. И первое, что я ощущал в миг пробуждения, — это набрякшие кисти собственных рук, словно и ночью, во сне моя левая рука держала кирочку, а правая нажимала на мастерок. Всё-таки переход от студенческой авторучки к серьёзному инструменту оказывался слишком резок, и руки не сразу к нему привыкали: поутру даже просто сжать пальцы в кулак — и то было больно и трудно.

Что мы строили там, в стройотрядах? В основном, дома, иногда — для людей, иногда — для коров и телят. Так что от дома никуда не уйти — даже в дни полубездомной юности. И теперь я к познанию дома приближался так близко, как только возможно, ибо сам теперь строил дома. Я узнавал, как они создаются и чем они держатся — не одним лишь умом, но и всеми чувствами, даже всем телом: руками, ногами, спиной и кожей, всё более смуглой от летнего солнца, палившего наши затылки и плечи.

Песок в кладочный раствор должен идти самый чистый — ведь из-за мейшего камешка в нём кирпич ляжет в стену неровно. Поэтому кладка стены начиналась с того, что мы устанавливали рядом с кучей речного песка, завезённого старым “ЗИКом”-самосвалом, наклонённую панцирную сетку кровати и совковой лопатой бросали песок на неё. Песок с шорохом осыпался по сетке и проваливался сквозь ячеи, а камушки с костяным пощёлкиванием отскакивали от упругого панцирного полотна. Эта работа была бездумной и лёгкой — знай, набрасывай на сетку песок, — и жаль её было прерывать, когда конус просеянного песка поднимался до сетки кровати. Этот конус напоминал в увеличенном виде конус песочных часов; и тебя посещали не то, чтобы мысли о времени, — молодость редко задумывается о нём, — но ощущение времени как вещества: вот такого же рыхлого, мягкого, неудержимо сыпучего и прибавляющегося стремительно и незаметно, как этот песок. А если присесть на корточки к жёлтой куче песка и погрузить в неё руки, горячие от лопатного черенка, тебя вдруг прохватывал краткий озноб: твои кисти тонули в прохладе прошедшего времени...

Когда просеянного песка набиралось достаточно, мы брали молочную сорокалитровую флягу и отправлялись к водоразборной колонке. Это хоженье — туда с пустой, громыхающей, гулкой флягой, а оттуда с тяжёлою, мокрою и ледяной — тоже осталось в душе, как одно из важнейших событий, как будто раствором, замешанным нами в огромном железном корыте, скреплялась не только кирпичная кладка, но и вся наша юная жизнь.

Столб чугунной колонки стоял, накренясь, а трава вокруг была много свежее и зеленее, чем в прочих местах. Установив пустую гулкую флягу на два мокрых замшелых кирпича, ты нажимал рычаг — и откуда-то из-под земли доносилось гуденье и дрожь. Эти гул и вибрация передавались колонке, её рычагу и твоей руке, нажимающей на него — так, что и сквозь твоё тело проходила дрожь подземелья. А затем в дно бидона ударялась струя напяржённой воды. Её напор был так силён, что фляга шаталась, звенела, но с каждой секундою звук понижался, и кирпичи, подпиравшие потяжелевшую флягу, ещё глубже тонули во влажной земле.

Если же вам с напарником хотелось напиться, то приходилось, оттащив флягу в сторону, буквально откусывать воду от жилистой и перевитой в тугую жгут струи. А когда ты решал освежиться и бросался под колонку ничком, то меж напяржённых горячих лопаток словно вонзался ледяной кол.

Потом мы замешивали раствор. Сначала ведрами насыпали в бадью песок и цемент, в пропорции где-то один к четырём, затем перелопачивали эту пыльную смесь, а уж потом подливали воды. Песчано-цементная смесь моментально темнела и тяжелела, и если бы не штыковые лопаты, она так и лежала б на дне, как пласт вязкого серого ила. Но лопаты, на черенки которых мы налегали всем телом, двигались непрерывно, вздымая тяжёлую серую массу. И в том, как лопатные лопасти то всплывали из чавкавшей жижи, то опять погружались в неё, в том, как покачивалась бадья и как стёршийся черенок лопаты ритмично поскрипывал, опираясь о её край, — в этом всё сквозило что-то настолько простое и изначальное, что казалось: ритм этой работы неотделим ни от ритма дыхания, ни от того, как неспешно и благостно движется день...

Но всё это — и просеивание песка, и замешивание раствора, и ещё множество действий, происходивших на стройплощадке, — было приготовлением к главному: кладке стены.

Если сложить все мои стройотряды, то получается, что я отработал строителем целый год, отстояв его большую часть именно на каменной кладке. Конечно, тогда я и думать не думал, что когда-то, уже в следующем веке,

из молодого худого студента сделавшись лысым грузным врачом, я начну сочинять книгу “Дом”, и как раз впечатления стройотрядовской юности позволят мне писать её со знанием дела, будучи не понаслышке знакомым с ремеслом каменщика. Но всё-таки что-то мерещилось даже тогда, когда я стоял на подмостках с кирпичом в левой руке и с мастерком — в правой: брезжило смутное предположение о том, что любое конкретное дело, — скажем, кладка стены — нуждается в дополнении и оправдании словом. И недаром я часто бормотал про себя, ведя кладку, строки шекспировского сонета:

*Пусть повалит статуи война,
Мятеж разрушит каменщика труд,
Но врезанные в память письма
Грядущие столетья не сотрут...*

Но и помимо глубокого смысла, заключённого в них, эти строки Шекспира помогали работать самим своим ритмом и тягой. Словно бы в ритме строфы твой мастерок нырял в ведро с раствором, зачерпывал вязкую серую массу, швырял её на стену и разравнивал быстрым волнистым движением, а потом левой рукой ты хватал верхний кирпич из заранее приготовленной стопки и опускал его на податливо расплзающийся раствор. И обязательно выполнялись ещё два движения, придававших работе каменщика некую щеголеватость: во-первых, торцом мастерка надо было постучать кирпич, подгоняя его поточнее, а во-вторых, широким шаркающим движением подхватить “сопли” раствора с наружной версты и точно швырнуть их в торец кирпича.

Пальцы левой руки до сих пор помнят то, как шершав и горяч на ощупь кирпич и с каким шелестением он выскальзывает из твоей загрубелой ладони. А мозоль на указательном пальце правой руки, образовавшаяся от постоянного трения кельмы-мастерка, начинала казаться частью строительного инструмента — тем, что принадлежит уж не столько тебе самому, сколько вот этому мастерку, кирпичам, о которые он ударяет, и всей этой стене, медленно прибавляющей один ряд за другим.

Монотонно-ритмичная кладка порой так увлекала, что казалось важно вовремя притормозить, чтобы не “завалить” углы или “маяки”, а точно выставить их по горизонтали и вертикали. Отвесом обычно служила половина кирпича, привязанная к пеньковой верёвке; и вот таким простейшим, но точным прибором мы выверяли положение наших стен и углов по отношению — ни много ни мало — к центру Земли. Поднимешь, бывало, отвес и, прищуривая глаз, смотришь, приближая его к углу кладки то с одной, то с другой стороны: а совпадает ли грань кирпича с крутящейся и всегда чуть взлохмаченной вертикалью пеньковой верёвки? Но, кроме сближающихся кирпича и отвеса, заметишь ещё много всего: и жёлтую кучу песка, из которой торчат лопаты, и перевёрнутые носилки с присевшей на них триясогузкой, и деревянные крыши, и зубчатую линию дальнего леса, и кипенно-белые облака в синем небе. И покажется вдруг, что своим отвесом ты выверяешь не только положение кирпичей в стене, а проверяешь весь летний солнечный мир. И тебя радует то, что всё в мире правильно, что он ни малейшей чертою и гранью не выпал из этой единственной и состоявшейся правоты.

А для определения горизонталей нам служил уровень, в длинной коробке которого бегал туда-сюда пузырёк воздуха и никак не хотел успокоиться возле центральной черты. Но этот прибор мы использовали только на стадии цоколя, а выше ровняли ряды по шнуру. Он натягивался на гвоздях, вдавленных в ещё влажный раствор “маяков”; и было прямо-таки наслаждением видеть, как верхняя грань кирпича, после двух-трёх ударов кельмы, с точностью до миллиметра совпадает с чертою шнура. Казалось, не только ты сам, но и весь мир стал устойчивей в этот момент, потому что в нём стало больше порядка.

Стена росла и росла. И это её упорное стремление вверх — против силы тяжести, основного закона природы, — родило стену с живыми существами, которые тоже растут вопреки тому, что им диктует закон всемирного тяготения. И ещё рост стены напоминал о движении времени: он был незаметен

и неудержим. На первый взгляд могло показаться, что никакого движения во все и нет, что всё увязло в каких-то второстепенных, подготовительных действиях: поднять, скажем, подмости, перебросить на них несколько сотен штук кирпича, передвинуть бадью для раствора или затереть швы наружной версты. И, если следить за стеной неотрывно и пристально, она будет казаться такой же недвижимой, как и часовая стрелка на циферблате. Но стоит чем-то отвлечься или день-два вообще не появляться на стройке, и ты с изумлением увидишь, насколько же выросла наша стена. Так и время: недвижимое с виду, оно незаметно и исподволь совершает громадные и леденящие душу скачки...

Стена уже так высока, что с подмостей, как ни тянись, не достать до наружной версты: хочешь не хочешь, приходится “перемещиваться”, поднимать настил подмостей выше. Но зато вот такая, заметно выросшая стена отчётливо разделяет пространство на внутреннее и внешнее. И это тоже роднит стену с живым существом; ведь самое первое, с чего начинается жизнь в большинстве её форм, — это создание клеточной стенки. И то, что внутри, начинает жить собственной жизнью, иною, чем жизнь снаружи. Внутри — хоть живой клетки, хоть дома — всегда больше порядка; всемирный закон нарастания энтропии даёт сбой внутри ограждающих что-либо стен.

Но едва ли не важнее, чем сама стена со всей её метафизикой, было то, что происходило с тобой, каменщиком той порою, как ты, день за днём, поднимал эту стену. Да, это порою и трудно, и скучно, и часто хотелось, побросав инструменты, пойти искупаться на пруд или лечь подремать в холодке, в тени подмостей, но ты терпел и работал, и чувствовал, как вместе с ростом стены что-то меняется и в тебе самом. Порядка и смысла прибавлялось не только в пространстве внутри поднимавшихся стен, но и в твоей душе, ещё такой зыбкой, такой неуверенной и молодой, что-то росло, укреплялось и зрело. В тебе появлялась опора — и этой опорой служил твой внутренний выбор, сделанный в пользу стены — и работы. Работать едва ли не более необходимо, чем жить: вот та формула, тот символ веры, который ты медленно, но неуклонно выкладывал сам в себе, в то время как твои руки прилаживали кирпич к кирпичу.

Можно сказать, в те знойные дни, когда пот с твоего лица падал на кладку вперемишку с раствором, ты превращался из незрелого юноши в зрелого человека. Это было настоящей инициацией, становлением тебя как мужчины не просто в биологическом смысле (это дело нехитрое и доступное многим), а в том, что ты выбирал мужской образ жизни, который придётся нести до скончания дней. Там, на каменной кладке, ты расставался с юностью как возрастом разрушения и мятежа и переходил в возраст творчества и созидания.

Здесь самое время отметить, что главные из работ, которыми я занимался в течение жизни, стоя у операционного стола или сидя у стола письменного, тоже напоминают терпеливый труд каменщика. Хирург, раздвигаящий ткани, а затем вновь их сводящий, кропотливо завязывающий узлы лигатур, даже сутулится над столом почти так же, как каменщик, что кладёт кирпичи ряд за рядом. Только светит хирургу не солнце, а многоглазая лампа; но пот часто льётся с его лица так же обильно, как если бы он жарким полднем стоял на строительных подмостях.

А сочинение текста? В этой работе есть и длительная подготовка — своего рода возведение лесов, без которых не поднять стену, — обдумывание и составление плана, многочисленные предварительные наброски и черновики; есть тягостные задержки в работе, когда текст не движется, как и стена, остановившаяся в дни затяжного ненастья. И есть в сочинительстве тот же странный “эффект часовой стрелки”, когда текст прибавляется совершенно, казалось бы, ничтожными и незаметными порциями, но вдруг человек, что усердно и долго писал строку за строкой, с изумлением видит: работа близка к завершению...

Где-то к полудню, когда солнце палило нещадней всего, подходило время обеда. Нет нужды говорить, что аппетит у нас, двадцатилетних, — да ещё после тяжёлой, азартной работы — волчий. Помнится, как неудобно держать

почти невесомую ложку огрубевшими пальцами, так привыкшими к мастерку и строительному молотку, и как приходилось подавлять желание припасть к миске ртом, чтобы отхлёбывать суп прямо через её жестяной край.

Навернув пару тарелок густого варева, да ещё с полбуханкою свежего хлеба, ты бывал так оглушён навалившейся сытостью, что боялся заснуть прямо с ложкой в руке. Но спать после обеда нам не полагалось — режим по-армейски жёсткий, — и мы все, ослотившие и отупевшие, поднимались из-за столов и брели снова на стройку. Наверное, со стороны это выглядело забавно: полтора десятка сомнамбул в строительных робах бредут по обочине деревенской дороги, загребая горячую серую пыль грубыми башмаками, а у деревенских собак, валяющихся под заборами с высунутыми языками, нет даже сил, чтоб их облаять.

Единственной поблажкой, что мы себе позволяли, вернувшись на стройку после обеда, — полежать минут двадцать в тенёчке, где-нибудь под стеной или на подмостях, меж кирпичей и носилок с раствором, потому что вставать сразу на кладку выше человеческих сил. И вот эти пятнадцать-двадцать минут послеобеденной дрёмы на подмостях превращались в целое странствие, в которое отправлялась твоя молодая душа той порою, как тело, ничком или навзничь, лежало на грубых досках. Иногда ты вздрагивал: в момент погружения в сон мерещилось, что доски настила кренятся, и ты с них вот-вот соскользнёшь. Но на миг пробудившись, ощутив и щекой, и рукой их надёжную твёрдость, ты вновь, успокоенный, погружался в дремоту. Ты словно скользил мимо вёдер, носилок, корыт из-под раствора, мимо трапов, вагончиков и трансформаторных будок, мимо коровника с провалившейся крышей, в прорехи которой ты видел худые пегие спины коров, мимо ржавого остова трактора, почти незаметного в зарослях непролазной крапивы, мимо крыш и заборов деревни, по-над липами старого парка — их кроны гудели от вьющихся пчёл, — скользил дальше и дальше, туда, где пространство и время, реальность и сон нераздельно сливались...

Что же тебя пробуждало от сладкого сна на скрипучих, раствором забрызганных подмостях? Иногда это был крик бригадира: “Кончай дрыхнуть, кирпич привезли!” — а иногда — гудок поезда, раздававшийся из-за недалёкого перелеска. Сверху звуки железной дороги были слышны хорошо, и перестук приближавшихся, а затем затихавших вдали составов нередко врвался в твой сон.

А ведь поезда — это тоже дома, только не находящие себе места. В них есть всё, что должно быть в доме, — крыша и стены, столы и постели, в них топят печи, в титанах бурлит кипяток, в них едят, отдыхают, спят люди, но нет прочной связи с землёй, и поэтому эти дома на колёсах — бездомны.

Как грустно, что в мире есть столько бездомных домов... Ведь главная из составляющих счастья — покой; а какой же покой может быть на трясущейся полке вагона, летящего в ночь под двойной перестук беспокойных колёс? Но с другой стороны, лишь в поездах к тебе, молодому, и приходило успокоение. Пока ты жил на одном месте — в той же, скажем, общаге — тебя не оставляло тревожное чувство, что самое главное в жизни свершается где-то помимо тебя, что лучшие годы проходят напрасно, что, словом, хорошо там, где нас нет. Но стоило только сесть в поезд, а потом ощутить ногами дрожь застучавшего на рельсовых стыках вагона, стоило только увидеть, как за окном вверх-вниз скользят провода и мелькают столбы, как тревога стихала. Словно именно к той, так манившей тебя, неизвестной дали и мчался сейчас ваш плацкартный вагон: каждый рельсовый стык, каждый столб, промелькнувший в окне, и эта скользнувшая мимо будка обходчика тебя к ней приближали...

Вот поэтому ты и любил поезда. Когда стоял ещё на перроне и чувствовал, как он дрожит от приближающихся вагонов, а лобовой прожектор тепловоза из маленькой звёздочки превращается в слепящее солнце, которое с гулом пронесется над головами, тогда и в тебе начинал нетерпеливо подрагивать каждый сустав. Скрипя, отдуваясь и лязгая, поезд замедлялся, потом останавливался, и ты порой видел, как из его сочленений на шпалы капает

влага — этот словно бы пот разгорячённого и хорошо потрудившегося состава. Распахивалась вагонная дверь, затем откидывалась площадка, закрывающая ступени, и ты торопливо вскакивал в тамбур, навстречу капроновым круглым коленям посторонившейся проводницы. В проходе вагона первое, что встречало тебя, — горячий титан с кипятком и ведёрко угля на полу рядом с ним. Горький запах угля был, конечно, тревожен; но эту тревогу быстро смирял уют дремлющего вагона, углы простынь, свисавших в проход с верхних полок, и сонные вздохи получившихся пассажиров, их вопросы спросонья: “Какая станция? Сколько стоим?” — и остатки их трапез на столиках, — словом, всё то родное, до боли знакомое, что называлось “плацкартный вагон в три часа ночи”.

Конечно, тебе в это время тоже хотелось спать; но мир ночного вагона так интересен и так тобою любим, что ты нарочно оттягивал миг засыпания, зная, что сон от тебя, молодого, всё равно не уйдёт, и, растянувшись на верхней полке, всеми чувствами впитывал то, что тебя окружало. Ты слышал, как под полом вагона что-то зазвякало, а потом зажурчало, — наверное, там проверяли тормозные колодки и наполняли баки водой, — а потом слышал, как стукнули сцепки, и вагон мягко подался сначала в одну сторону, но, спохватившись, качнулся и поплыл в противоположную. Колёса внизу застучали чаще и чаще; полосы света быстрее и быстрее замелькали в проходе и вдруг погасли; поезд словно сорвался с лучей станционных огней в глухую и тёмную ночь. Скорости хода почти не ощущалось, но ты всем телом чувствовал, как вагон напряжённо дрожит, словно он так, застоявшись, озяб, что теперь не мог справиться с этим ознобом. От окна в самом деле тянуло январской стужей, и ты, как мог, подушкой и краем матраца отгораживался от ледяного стекла. Ещё хорошо, что в вагоне щедро топили, и десяткам дремавших людей стужа ночи была нипочём.

А ты представлял себе те ночные снега и пространства, сквозь которые мчится вагон. Что отделяло всех вас, пассажиров, от стужи и тьмы? Только эта дощатая тонкая стенка — по сути, скорлупка, — так отчего же все спали так безмятежно и сладко? Неужели достаточно лишь эфемерной преграды меж нами и миром, чтоб этот чужой, равнодушный и даже враждебный мир оказывался нам не страшен? В этом гудящем, дрожащем, качающемся вагоне, посреди ледяной темноты каждый спал так, словно он находился в своём доме, в привычной постели, в надёжном углу.

Вагон продолжал гудеть и качаться; по окнам порой пробегали короткие светлые блики, — быть может, огни поездов? — и эти гуденье, качанье, мельканье усыпляли тебя, словно зыбка, в которой убаюкивают младенца. Глаза закрывались сами собой, рука сонно свешивалась в проход; а вагон, подвывая, дрожа и качаясь, летел и летел сквозь бездонную ночь...

Итак, ты просыпался на подмостях, разбуженный стуком железнодорожных колёс. Под щечкой у тебя лежал ватник — потёртый, истрёпанный, что называется, выдавший виды. Из прожжённых дыр торчали клоки серой ваты; рукава залоснились; один накладной карман наполовину оторван. Но всё равно ты свой ватник любил и старался с ним не расставаться. Если даже он не играл роль одежды, то служил тебе или подстилкой, или одеялом, или подушкой. Имея ватник, можно заснуть не то, что на подмостях, но и на кирпичной куче: сквозь слой простёганной ваты углы кирпичей не так уж и сильно впивались в рёбра. Запах же ватника сохранял следы той работы, которой ты в нём занимался. Клад кирпичи — сырые рукава пахли цементным раствором; обрезал тёс на пилораме — от ватника, обсыпанного опилками, исходил смолистый запах сосны; крыл рубероидом крышу — на ватнике оставались пахучие липкие пятна гудрона; жёг костёр — ватник пах, естественно, дымом.

И ватник оказывался больше, чем просто одеждой, — он становился, по сути, переносным жилищем, дарившим тепло и защиту. Когда ты замерзал зябким туманным утром или росистым — туманным же — вечером, то стоило только набросить на плечи ватник, как холод и сырость становились тебе нипочём. А если шёл дождь — нудный, холодный и затяжной, — то ватник

опять был незаменим. Промокать-то он, разумеется, промокал, но наружный слой ваты, напитавшись водой, глубже внутрь эту воду не пропускал. И можно целый день проходить в сыром ватнике под дождём, но не промокнуть до нитки и не особо замёрзнуть, потому что даже волглая вата хранила тепло.

Правда, и просушить сырой ватник непросто. Бывало, сгрудимся возле костра, — а на стройке обычным топливом служили обломки лаково-чёрного битума, — и только что не ложимся на алое чадное пламя, которое лижет промокшие наши фуфайки. От ватников валит пар, а вата, торчащая из многочисленных дыр и прорех, смуглеет, трещит, даже тлеет, когда её трогает пламя. Потому-то и были все наши ватники в дырах и смуглых разводах, что мы хотели побыстрее их просушить и нещадно прожаривали на кострах.

По-настоящему, ватник достоин памятника. В чём воевали солдаты Великой войны? В тех же ватниках, перепоясанных солдатским ремнём, за который цеплялась граната, штык-нож да засовывалась сапёрная лопатка. В чём работали зеки на лесоповале в колымские сорокаградусные морозы? Что, матерясь, бросали шофёры на мёрзлую землю, когда залезали под неисправные ЗИСы или полуторки? В чём сельские бабы шли на поля и на фермы? В чём работали миллионы подростков у токарных станков в цехах эвакуированных заводов? Словом, без ватника было не выжить; зато в нём люди переносили невыносимые трудности.

Когда я размышляю о юности как о возрасте расставания с домом, на память приходит картина пожара в смоленской деревне Сяковка — пожара, которому я оказался не только свидетелем, но и невольной причиной.

Стояло сухое жаркое лето. Наш стройотряд возводил кирпичное здание котельной, и работали мы от темна до темна. От такой напряжённой работы даже в нас, загорелых и жилистых двадцатилетних студентах, накапливалась усталость, и, подняв стены до перекрытий, мы решили устроить банный день. Договорились с дояркой по имени Зинка, что воспользуемся её банькой — она, покосившаяся и ветхая, стояла как раз рядом со стройкой.

Меня, как большого любителя париться, назначили истопником. Опыта топить баню по-чёрному (да и по-белому тоже) у меня не было, иначе бы я, поглядев, до чего ветха эта банька, нипочём бы не стал распалить её печь до такой силы. Но молодость тем и опасна, что не знает границ. Печь грозно гудела; брёвна банного сруба, и так пересохшего от многодневной жары, тревожно потрескивали, а я продолжал подсовывать в печь, под самый свод каменки, мгновенно занимавшиеся берёзовые поленья. Плотный белый дым затянул баню; незадумлёнными оставались каких-то полметра над полом — и пробираться к печи приходилось на четвереньках, зажмуривая глаза от едкого дыма и нестерпимого жара. Очередное поленье я сунул в топку поспешно, почти вслепую, и где уж мне было заметить, что один из камней свода упал в полыхавшую печь — и клуб искр взметнулся к горячему потолку?

Задыхаясь и обливаясь потом, я выполз наружу — полуденный зной показался блаженной прохладой, — и какое-то время в ушах у меня раздавался только грозный гул банной печи. Но вдруг я расслышал протяжный и жалобный бабий крик. Он доносился от огородов за баней — и, хоть пока он был тих и далёк, я мало что в жизни слышал страшнее. В том нарастающем и приближавшемся вопле — кричала уже не одна баба, а несколько — столько беды и боли сквозило в их общем крике, что у меня заболело сердце. Мгновенно похолодев, я повернул голову и увидел: истошно кричащие бабы бегут ко мне напрямик, огородами, топча картофельные ряды, а в бледное небо над баней, клубясь, поднимается дым...

Секунд пять я не мог двинуться с места: ужас этой картины — чёрный дым и бегущие с воплями бабы — меня парализовал. Затем, забежав за угол бани, я своими глазами увидел то, о чём уже догадался: задний угол пылал, как свеча. Тяга огня была столь велика, что она срывала с кровли листы рубероида, и они, крутясь, взлетали в столбе чёрно-алого дыма. Потом я ощутил, как жар опалил мне лицо и как затрещали волосы. Я заметался, ища

ведро, нашёл, побежал с ним к водоразборной колонке, а когда возвращался, увидел, что к бане со стройки бегут все наши ребята.

Удивительно, до чего быстро и слаженно все включились в спасательные работы. Видимо, в нашей генной памяти сохранился не только бабий истощённый вопль, но хранится и то, как надо вести себя в общей беде. Быстро выстроили цепочку, передавая вёдра с водой от колонки до полыхающей бани. Быстро сообразили, что баню уже не отстоять — и поливали стены и кровли ближайших сараев. Когда же вода в колонке закончилась, взялись за лопаты, и забрасывали землёй те искры, что падали с дымного неба на крыши сараев, поленицы дров и сенные навесы.

Минут через десять всё кончилось. Пожарной машине, приехавшей через полчаса, осталось лишь полить водой пепелище, отчего повалил такой густой пар, что кто-то из нас, засмеявшись, предложил в нём и попариться. Что ж, уже можно было шутить, и громкий, нервический хохот то и дело взрывался в чумазой и потной толпе, окружавшей то место, где находилась Зинкина баня. Сама Зинка тоже оказалась здесь и даже немного повывла, но больше для вида, чтобы исполнить народный обряд под названием “плач погорельцев”. Убытка она не понесла никакого: на следующий день мы собрали складчину двести рублей и отдали Зинке, притом, что сгоревшая баня не стоила и половины. А деревенские жители нас даже благодарили. “Слава Богу — говорили они, — что баня сгорела, когда вы были здесь и не дали огню пойти по деревне. Случись это в другое время, а оно б непременно случилось, от всей нашей Сяковки остались бы одни головешки...”

А вот мы — те, кто видел пожар и пытался его потушить, — ощутили, что мир, казавшийся нам неизменным и вечным, на самом-то деле так хрупок, что достаточно сущего пустяка, чтоб, скажем, дом превратился в руины или пепелище. Построить дом трудно — мы, строители, хорошо это знали, — а разрушается или сгорает он так легко и так быстро, словно во всём, что построили люди, живёт некий дух разрушения и ждёт только удобной минуты, чтоб показать свою силу и власть. Не могу отделаться от ощущения, что пожар, случившийся в Сяковке летом 1983 года, находится в некой таинственной связи со всем тем, что произошло и с общагой, и с нашей страной спустя несколько лет. Тогда, в день пожара, мир для меня как бы треснул — и эта трещина, разорвавшая прежний его монолит, с каждым днём расширялась и углублялась...

Когда мы возвратились в город и из строителей превратились снова в студентов, то оказалось, что наша общага, в которой мы жили так долго, с которой сроднились, закрылась на капитальный ремонт. Нас, старшекурсников, тоже привлекали к ремонтным работам — тем более что строительный опыт у большинства из нас был. Причём в старой общаге затеяли не просто ремонт, а перестройку — с тем, чтобы в корне переменить назначение здания, изгнать из него тот дух общего существования, без которого мы, дети старой общаги, уже и не знали, как жить.

До сих пор не пойму, чем объяснить тот безумный азарт разрушения, с которым мы дружно кидались пробивать перегородки, обрушивать стены, с хрустом вздыбливать и ломать половицы, высаживать оконные рамы, — словом, своими руками сокрушать тот самый мир, в котором мы выросли и который любили? Ведь это наш, родной мир — эти стены, полы, коридоры и комнаты, в каком-то смысле, мы сами, — так отчего же столько радостной злости кипело в нас, когда мы размахивали кувалдами и вонзали острия монтировок меж досками пола, и эти доски стонали от наших ударов, как люди?

Зачем мы своими руками сокрушали наш общий дом? Ведь в глубине души мы все чувствовали, что тот новый мир, куда нас увлекал и наш молодой, оголтело бездумный азарт разрушения, и само вдруг ожившее и стремглав побежавшее время, — что новый мир ещё долго нам будет не мил, ибо тот, кто родился и вырос в общаге, в глубинах и недрах её райских сумерек, тот будет чужд иной жизни.

И всё-таки мы разрушали наш дом... Не оттого ли, что юность по сути своей, по своей изначальной природе не может не разрушать, в том числе и

дома? Недаром же все революции, что происходили и будут происходить, дело, прежде всего, молодых.

Что случилось с общагой? Нет, её не разрушили до основания. В ней, перестроенной до неузнаваемости, поместили администрацию и кафедры института. И это действительно стал иной мир — иной до того, что в нём зазвучала иноземная речь: фразы на хинди или английском в скором времени стали здесь совершенно обычны.

А вскоре после того, как мы сокрушали — и сокрушили-таки! — нашу общагу, слово “перестройка” зазвучало по всей стране и по миру, и за короткое время было нарушено равновесие целой планеты.

III

Мир стал другим. Очень быстро — сейчас кажется, что в одночасье, — страна, в которой мы жили, превратилась из страны общежитий в страну особняков и бомжей.

Особняки 90-х годов прошлого века — “лихих девяностых”, как их потом окрестили, — местами росли так стремительно, что этим безудержным ростом напоминали какие-то опухоли. И возводились они на “нездоровые” — как правило, криминальные — деньги, и нередко прижимали-теснили соседей именно так, как растущая опухоль давит соседние ткани. Правда, и “умирали” эти особняки тоже быстро, и чаще всего — недостроенными: когда иссякали криминальные деньги, питавшие их, — хозяин садился в тюрьму, уезжал из страны или вовсе ложился в могилу, — то рост стен останавливался, решётки на окнах ржавели, а бурьян поднимался выше заборов.

А наряду с быстро растущими особняками характерной приметой тогдашней страны стали бомжи — люди, оставшиеся без дома. По сути, одновременное появление особняков и бомжей было единым процессом. Чтобы в одной стране и в одно время во множестве появились дома-особняки, кто-то должен был свои дома потерять и превратиться в лицо “без определённого места жительства”. Бомжи тогда водились всюду в огромном количестве. Я уж не говорю про рынки, вокзалы, церковные паперти или подземные переходы — места, где удобнее просить милостыню или надеяться на случайный копеечный заработок, — но бомжи появлялись в любом месте города, стоило только остановиться где-либо с пивною бутылкой в руках. Казалось, они возникали от одного хлопка пивной пробки и, стоя поодаль, но при этом внимательно наблюдая за убывью пива, выжидали момент, когда можно будет завладеть опустевшей бутылкой. Иные вели себя деликатно, застенчиво осведомлялись: “Простите, а вы посуду сами сдавать будете?” — и, если ты отрицательно мотал головой, до поры куда-либо скрывались, чтобы не мозолить тебе глаза; другие, напротив, нагло вата усаживались неподалёку и даже просили: “Командир, оставь пару глотков!”

Понятно, что на деньги, вырученные от сдачи пустых бутылок, бомжам не купить квартиру и даже не получить крышу над головой хотя бы на одну ночь. “Бутылочные” деньги шли на дешёвую выпивку, которой тогда появилось разливанное море. На эту-то выпивку, в сущности, многие и променяли свои дома. Подпоив человека, и так-то любившего выпить, да ещё посулив ему быстрые деньги, было не так уж и трудно выманить у бедолаги жилище — и вот всего через несколько месяцев и через несколько шагов по социальной лестнице вниз многотысячная армия бомжей пополнялась очередным новобранцем. Бутылка дешёвого пойла в руках — вот что имел теперь человек вместо дома. И эта бутылка — точнее, её содержимое — на какое-то время и впрямь создавала иллюзию дома: захмелев, человек уж не чувствовал себя таким бесприютным в том мире, в котором ему довелось доживать свои дни. Жизнь вновь становилась бродяге мила, как и в прошлом, когда он имел и свой угол, и крышу над головой.

А уж когда хмельной бомж засыпал — так он и вовсе словно бы возвращался домой. Возможно, ему дом и снился: тот самый, родительский, из которого он и отправился в этот неласковый мир. Вообще, сон есть приют и убежище — своего рода дом — для всех нас, кто пока ещё жив; как и смерть есть большой общий дом для всех тех, кто уже умер.

Где жили бомжи в ожидание последнего сна, который был должен их всех приютить под табличками номерных безымянных могил? Их домами служили подвалы и чердаки — тогда они ещё не запирались, — колодцы теплотрасс, где тёплые трубы могли обогреть даже в лютую стужу, шалаши, сгороженные из картонок и досок на городских свалках, или опустевшие на зиму дачи.

Да, опустевшие дачи... То, что происходило в те годы, было настоящей гражданской войной, когда армия обнищавших бездомных людей, пытаясь спасти и продлить свою жизнь, осаждала и грабила те укрепления, которые их сограждане воздвигали для спасения жизни собственной. И в этой гражданской войне, растянувшейся чуть ли не на десятилетие (да и сейчас не вполне стихшей) обе стороны были по-своему правы, что и делало эту войну общенародной трагедией.

Прав ли бомж, замерзающий и голодающий, когда он, в поисках пищи, тепла и хотя бы временного приюта, выставляет окно покинутой на зиму дачи, забирается внутрь и живёт там какое-то время, топя чем придётся печку-буржуйку и подъедая припасы, оставшиеся после хозяев? Замерзающий и голодающий — прав; и никакой высший суд не осудит его за попытку спасения собственной жизни.

А прав ли в своём гневе хозяин дачи, когда он, приехав в очередной выходной, видит свой дом разорённым, загаженным и осквернённым, а то ещё, не дай Бог, видит на месте любимого домика лишь пепелище? Прав, конечно, и он. Тем более, дачники — чаще всего люди небогатые и работающие. Годами и по крупицам они создавали свой маленький рай, не разгибались над грядками, сажали кусты и цветы, обживали игрушечный домик — не для того же, чтоб вдруг увидеть на месте своей воплощённой мечты мерзость разорения? Кроме того, дачи были, в прямом смысле слова, кормилицами страны, а уж тем более они стали ими в те смутные годы, когда всё вокруг рушилось, и надеяться можно было лишь на лопату в руках да на шесть дачных соток земли.

И вот на эту кормилицу, эту мечту и любовь совершалось грубое и незаконное нападение. Понятна и ярость хозяев, и те оборонные меры, что принимались дачниками страны против непрерывно наступающего и всё более многочисленного противника. Запоры, решётки, замки и заборы помогали, конечно же, мало. Вскладчину нанимались охранники, или сами же дачники организовывали дежурства на дачах; кое-кто устанавливал даже капканы, надеясь поймать нарушителей. Доходило и до стрельбы: в больницу, где я работаю, не раз привозили подстреленных и покалеченных обозленными дачниками бомжей. И всё это было сраженьем за дом — за то, чтоб его сохранить или им овладеть.

Я дач, конечно, не грабил и не разорял, но всегда любил их рассматривать, проходя или проезжая на велосипеде улицами какого-нибудь пригородного дачного посёлка. В такие моменты казалось, что ты оказался в игрушечной жизни, конечно, похожей на настоящую, но лишённой её тяжело-весной серьёзности. Здесь, среди маленьких домиков ярких расцветок, среди клумб, цветников и дорожек, скамеек, кустов, я себя чувствовал ребёнком, который мечтал вот как раз о таких “пряничных” домиках, даже рисовал их неумелой детской рукой — и неожиданно наяву очутился в живых декорациях сказки.

Воплотившийся детский рисунок — домик с трубой и крыльцом, с кругом солнца над крышей, с цветами на ярко-зелёной траве — вот чем была почти каждая дача. И люди, которые строили этот сказочный городок, а затем обживали его, стремились, скорее, не столько к практической выгоде — очень уж трудоёмким и неэффективным было дачное сельское хозяйство, — сколько к тому, чтоб исполнить мечту детских лет. И длинный, тернистый, порой занимавший чуть не целую жизнь путь от детских каракулей к этой чистой даче, сиявшей окошками в окружении мальв и пионов, был путем истинно творческим.

Творить в общепринятом смысле — сочинять симфонии или писать картины — дано немногим, но попытаться построить свой дачный маленький рай

мог почти каждый: дачное творчество было одним из самых демократичных. А то, что на это общенародное творчество государством налагались жёсткие ограничения, — это и скромные шесть соток участка, и определённая площадь дома, и даже толщина стен дачных домиков — было, в сущности, только на пользу. Творчество невозможно без ограничений, хотя бы уже потому, что творцу необходимо иметь границы, которые он пытается преодолеть.

Вот и творили строители дач, кто как мог и умел. И хоть дачные домики часто бывали похожи, но среди них, как и среди человеческих лиц, найти близнецов было трудно. Домики строились из кирпича и из брёвен, из дощатых щитов и железнодорожных шпал, а порою роль дачного домика играл строительный вагончик или списанный контейнер для грузоперевозок. Но всё, даже контейнеры или вагончики, хозяева дач старались отделать по-своему, старались придать любимому детищу необщее выражение лица.

Вообще, смысл жилища не сводится к чисто утилитарным вещам — к защите от недругов, холода или дождя. Нет, смысл дома глубже и шире: он в том, чтоб вернуться в утраченный рай. И всегда, когда люди мечтают о доме, они в глубине души хотят не просто удобства, тепла и покоя, но хотят оказаться в ином, лучшем мире, чем тот, где они обитают сегодня. Как-то, помнится, я прочитал фразу, принадлежащую одному английскому кинорежиссёру: “Рай — это постель в библиотеке с окнами в сад”. И подумал: а ведь Грингуэй (так зовут режиссёра) имел в виду именно дом, стоящий в саду. И мне сразу стала понятней и ближе важнейшая из национальных черт англичан: обожествление ими домов.

Конечно, английская жизнь и история развивались иначе, чем русская. Англичане много веков не знали такого повального истребления домов, какое происходило в России. Поэтому для англичанина дом вполне мог казаться чем-то несокрушимым — таким же, как камни, из которых он сложен. В России же, где едва ли не каждое поколение видело, как на месте селений чернеют, дымясь, пепелища, — в России трудней видеть в доме неизбежную опору. Библейское выражение: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где тля тлит, и воры подкапывают и крадут”, — в России вполне дополняется своим, выстраданным: “...и где дома обращаются в пепел...”

Но и в России мечта о доме не умирала. И вот как раз дачное движение, охватившее страну во второй половине XX века, — тому яркий пример. Люди, которым суровое государство (всегда норовившее больше брать, чем давать) неожиданно выделило дармовые шесть соток, — люди как обезумели от привалившего на их долю счастья. И хоть земля этих дач формально оставалась за государством, всё равно миллионы людей, забывая про отдых и сон, кинулись воплощать ту мечту, что всегда жила в их сердцах. Кто помнит, во что превращались пригородные автобусы и электрички по выходным дням, думаю, согласится со мной: это было какое-то общенародное помешательство. Никакими соображениями практической выгоды нельзя объяснить тот порыв, который заставлял людей, в большинстве своём немолодых, взваливать на спины мешки, рюкзаки и корзины, хватать лопаты и тяпки и штурмовать двери переполненного вагона, опасаясь, что очередной поезд в рай отправится — не дай Бог! — без них.

Посмотришь, бывало, на шумный, толкающийся и гомонящий перрон — на все эти вёдра, корзины, на зубья граблей и прутья аккуратно увязанных саженьцев, на сапоги и фуфайки, косынки и кепки, на всё это озабоченно-нетерпеливое копошение дачников — и подумаешь: это же эвакуация! Люди словно бегут из тех мест, где им плохо и где они не могли быть самими собой, туда, где им будет лучше, где они вспомнят и встретят самих же себя. Если верно, что жизнь — это бой (так считал, например, Марк Аврелий), то миллионы дачников, вооружаясь лопатами, можно сказать, с боями выходили из окружения, прорывались к родным райским местам. Недаром так часто можно было услышать, в разговорах на том же перроне: “Ну что ты! У меня на даче — сущий рай...”

Вот к раю-то, к райскому дому они все и стремились. А когда возвращались последними воскресными электричками, то на их лицах вместе с дачным

загаром и двухсуточным изнеможением читалась застенчиво-затаённая радость. Как будто и впрямь эти люди едут из мест, о которых словами не рассказать, но которые ждут нас и ныне, и присно, и от нас самих лишь зависит, когда и какими путями мы возвратимся туда...

Но справедливости ради надо взглянуть и с другой стороны. Нельзя не отметить и трудно оспорить тот факт, что многие из великих учителей человечества — людей, явивших нам образцы мудрости и добродетели, — были бездомны.

Принц Гаутама, который стал Буддой, как ушёл в юности из отцовского дома-дворца, так больше туда и не возвратился. Великий китайский мудрец Лао-Цзы кончил жизнь настоящим божком: он ушёл за границу Китая, на север и канул в безлюдных пространствах пустынь.

Апостолы, ученики Христа, тоже не имели домов. Точнее сказать, их дом был везде, ибо домом стал Дух. А Франциск из Ассизи... Где жил этот святой, едва ль не полнее всех прочих Христовых учеников воплотивший живой образ Учителя? Он бродил по дорогам, проповедуя птицам небесным, называя всех братьями и даже смерть именуя сестрой...

А если даже мудрец имел дом, то это нередко бывало что-нибудь вроде Диогеновой бочки или пастушьей хижины Гераклита: нечто столь примитивное, жалкое, бедное, что назвать это домом как-то и не поворачивается язык.

Так что же, выходит, дом не относится к высшим и безусловным ценностям для человека, и самые лучшие люди обходятся без домов? Разумеется, к высшим ценностям дом не относится; но — как бы это точнее выразить? — хоть дом и не есть сама Истина, но для многих из нас путь к ней лежит через дом. Бродяга, скитающийся по дорогам и не знающий, где преклонить голову, вряд ли открыт красоте и способен к добру: ему лишь бы выжить. Зато, если дом защищает его от невзгод и напастей, если он согревает его, дарит отдых и сон, тогда человек, может быть, постарается сделаться лучше, чем есть, иными словами, он будет пытаться стать человеком.

Бездомные люди, как правило, не создавали ни книг, ни картин и не совершали научных открытий; хотя бы на время, но всякий из тех, кто творит, нуждается в доме. Да что говорить, если даже богам люди строят дома! И так ли уж детски-наивны людские предположения о том, что вот-де, божество самолично является в храме, возведённом в его честь, принимает там жертвы или молитвы, какое-то время там даже живёт — совсем как те люди, что строили храм по образу и подобию собственных, пусть и более скромных жилищ? Но ведь богам никакой дом не нужен — они-то уж как-нибудь обойдутся без крыши над головой! Храм нужен людям, которые его возводили, затем, чтоб не чувствовать своего одиночества и бесприютности в мире. В жизни каждого бывают минуты, когда он ощущает себя потерянным, одиноким, бездомным; но стоит ему войти в храм той религии, к которой он — пусть даже и не по собственной вере, но хотя бы по культурной традиции — принадлежит, как человек, чаще всего, испытает блаженное чувство: наконец-то он дома!

У меня такой опыт связан, естественно, с православными храмами; и, если бы мне не случалось зайти в православный храм где-нибудь на чужбине, думаю, что чувство дома во всей его полноте и отрадности так и осталось бы мне не знакомо. Только в храме, где курятся кадила и потрескивают свечи, где гудит бас диакона и мерцают оклады икон, где взлетают под купол распевы церковного хора, — только там и понимаешь (уже не рассудком, а всем существом), что истинный дом — это вовсе не стены, не кровля, не кухня с плитой и не спальня с кроватью; нет, дом — это чувство, что ты не потерян и не одинок в этом мире, и всё, что с тобой происходит, имеет задачу и смысл. Дом — это чувство причастности к тайне, величию и глубине; или, выражаясь совсем уже коротко, истинный дом — это Дух: который, конечно же, дышит, где хочет, но здесь, в стенах храма, дыханье Его ощутимей всего...

Вернусь к описанию собственной жизни и того, как тема дома продолжала звучать в ней. Дачи, которую в смутные годы нам пришлось бы оборонять

от бомжей, у нашей семьи никогда не бывало, но у нас был дом, в котором мы жили и который тоже испытывал невзгоды и тяготы смутного времени. Этот дом цел доселе, и мы в нём доселе живём. В год, когда пишутся эти строки, исполняется сорок восемь лет нашего пребывания на Бушмановке, в доме номер двадцать четыре. Поэтому я просто обязан подробнее описать главный дом своей жизни. Как в семилетнем возрасте я зашёл в этот подъезд, так до сих пор вхожу-выхожу из него. Мало того, что сын с дочерью выросли здесь, так теперь вот и годовалую внучку Анюту случается подносить к окну, показывая ей зимний двор: “Вон, смотри — дерево... А вон — птица...” А Анюта, знай, смотрит смыслёнными карими глазками и задумчиво произносит: “Ага-а...”

Каков же наш дом? Он двухэтажный, кирпичный, с двускатной крышей, на восемь квартир. Его построили в 1964 году: мы с ним почти ровесники. Возводили его как жильё для сотрудников психиатрической больницы — на её территории дом и расположен, — но теперь в нём живут, в основном, пенсионеры.

Ещё в сравнительно недалёкое время — четверть века назад — это место считалось деревней Бушмановка. И хоть теперь нас приписали к Калуге, черты деревенской жизни сохранились и в доме, и в его окружении. По утрам слышно, как хрипло кричат петухи и как собаки из-за заборов облаивают прохожих; зелень садов окружает дома; а футбольное поле, расположенное рядом, чаще служит не для игры, а для выпаса коз и коней.

А птицы? Да один перечень птиц, прилетающих к нашему дому, кормящихся по окрестным садам и оглашающих их своим свистом и щебетом, занял бы много места и времени. Здесь, по сути, целый орнитологический парк: как-то, взявшись перечислять всех, кто к нам прилетает или хотя бы пролетает над нашим домом, я насчитал тридцать два вида птиц.

Есть и ещё особенность здешней жизни, до сих пор роднящая нас с деревней. Это многочисленные сараи и погреба, которые здесь нагородили жильцы больничных домов. Согласитесь, что обитатель современной городской многоэтажки вряд ли может позволить себе роскошь спуститься в собственный погреб, чтобы поднять оттуда ведро картошки или банку собственоручно засоленных огурцов.

И вот эта рубежность нашего дома, одновременно и городского, и деревенского — сыграла немалую роль в моей жизни. Ощущение себя одновременно и деревенским, и городским жителем позволяет воспринимать ту полноту существования, какую вряд ли способен почувствовать коренной горожанин или пожизненный обитатель села.

Но наш дом стоит ещё на одном рубеже. И если граница деревни и города лежит в плоскости социальных явлений, то граница, о которой я хочу теперь рассказать, лежит много глубже. Дело в том, что наш дом расположен на территории психиатрической больницы, для сотрудников которой его и построили более полувека назад, и поэтому он представляет собой как бы крепость, которую здравый смысл и рассудок возвели против безумия — вечного спутника человека. А то, что в просторечии психиатрическая больница именуется “сумасшедшим домом”, и имя посёлка — Бушмановка, где он расположен, для калужан давным-давно носит иносказательный смысл — это всё открывает для нас в теме “дом” новые грани.

Да, дом бывает и сумасшедшим. Начиная с Бедлама, лондонской тюрьмы для умалишённых (чье имя также давно стало нарицательным), люди строили и особенные дома для безумцев, помещая туда тех несчастных, кого не удерживали рамки обыденной жизни.

Живописать дом безумия на этих страницах вряд ли уместно; хотя я в качестве сначала студента, затем — медбрата, а затем — врача-консультанта провёл немало времени в сумасшедших домах и не понаслышке знаю их жизнь. Скажу лишь одно: прожив на свете достаточно долго, и волей-неволей из года в год сравнивая степень безумия внутри стен психиатрических отделений с безумием нашей обыденной жизни, я вижу, что это сравнение часто не в пользу последней. Порой начинает казаться, что как раз в сумасшедшем доме порядка и здравомыслия больше, чем в том обезумевшем мире,

в котором мы с вами вынуждены существовать. Если так пойдёт дальше, то впору менять местами таблички, потому что мы все будем жить на большой, чуть ли не во весь земной шар, территории сумасшедшего дома.

И не оттого ли я так нежно люблю территорию нашей больницы, где живу уже целых полвека, что это одно из последних здоровых, пригодных для человеческой жизни мест? Когда я возвращаюсь из города, из его суеты-толчеи, из его лихорадки вот на эти аллеи, в их чинный покой и порядок, неизменный вздох облегчения вырывается у меня из груди. Вот только что вокруг были шумные улицы, их бензиновый чад и угар, пестрота и назойливость разнообразных реклам, была масса соблазнов — от мелькающих женских коленей до сладкого запаха сдобы из двери кондитерской, — был поток того шумного и возбуждающего, что тревожило чувства, рассудок и душу и никак не давало услышать себя самого. Тебя непрерывно куда-то тащило, звало, окликало, манило; казалось, весь мир задался одною-единственной целью — заморочить, сбить тебя с толку и не позволить остаться самим собой. И вдруг — слава Богу, что путь от шумного центра до тихой Бушмановки недалёк, — весь этот морок и чад отступает, и ты с облегченьем вступаешь в иное пространство. Здесь тихо и зелено, чисто, здесь никто никуда не летит сломя голову, здесь лица прохожих осмысленны, взгляды — спокойны. “Ну, наконец-то, — думаю я на дорожках больничного парка. — Наконец-то я оказался в нормальном мире!”

С каждым вдохом и выдохом чувствуешь, как чист здешний воздух, — чист не только от городских газов, пыли и шума, но чист и от всякого рода психических отклонений. Ибо всё ненормальное и извращённое, всё искажённо-больное здесь названо собственным именем, отсортировано и обозначено, разделено по палатам и корпусам, внесено в формуляры, истории и картотеки, то есть сам воздух здесь словно бы отфильтрован от невидимых и вездесущих флюидов безумия.

Как же мне не любить это славное место? К тому же, больничный парк чудесен и сам по себе. Когда-то его разбивал и растил настоящий мастер садово-паркового искусства. Каких деревьев здесь только нет! Берёзы и клёны, дубы и акации, лиственницы и тополя перемежаются рябинами, липами, вязами. Аллея лиственниц осенью светится таким нежным золотом хвои, что кажется: стройные эти деревья всегда, даже в пасмурный день, озарены солнцем. А таких пышных белых акаций, возможно, нет в самом Киеве, которому и посвящён знаменитый романс о цветущих акациях, *невозвратимых, как юность моя...*

И этот больничный парк легко и естественно переходит в сады, что разбиты у наших домов, в том числе и в семейный наш сад. Деревья здесь всё больше плодово-ягодные: груши, яблони, вишни и сливы. И здесь, среди юной поросли слив, стоит наша “Муза-русалка”: скульптура, которую как-то, в день моего тридцатилетия, притащили в подарок друзья-приятели. Вот представьте: девушка — нет, скорей даже девочка лет четырнадцати — с рыбьим хвостом и такой удивительно улыбкой, перед которой, на мой взгляд, меркнет даже улыбка Джоконды. В этой детской улыбке видишь доверие к миру и одновременно насмешку над ним, детскую радость и зрелую мудрость, видишь лукавство и простодушие, — словом, видишь так много всего, что это русалочье улыбающееся лицо порой представляется чуть ли не ликом самой природы, тоже наивной и мудрой, доверчивой и насмешливой одновременно.

В смутные годы развала империи и перестройки всей прежней жизни под угрозой оказались и наши дом, двор и сад. Вопрос выживания вставал беспощадно и остро; бывали дни, когда я буквально не знал, чем кормить семью завтра?

Вовремя сообразив, что надеяться в трудные дни можно только на землю и на лопату в руках, мы с отцом раскопали пять соток целины в овраге неподалёку и в первый же год вырастили неплохой урожай картофеля: худо-бедно, перезимовать можно. Но возникла другая проблема: где эту картошку хранить? Первую осень мы ссыпали наш урожай прямо в подъезде, под лестницу; но там слишком тепло, и картошка ещё до весны проросла.

Потом отец вспомнил способ, который использовался на Курщине в послевоенные годы: хранить картофель в земляной яме. И мы выкопали яму в саду, и картофель отлично в ней долежал до весны. Неудобство было в одном: не будешь же ради ведёрка-другого картошки разрывать зимой снег и долбить мёрзлую землю?

Как ни крути, а без погреба нам, выживающим в трудные годы, не обойтись. Выкопать погреб, чтобы в нём сохранить урожай, для нас оказалось почти тем же, что для обороняющегося солдата отрыть окоп полного профиля: то есть найти и защиту, и помощь в той самой земле, на которой мы жили.

Итак, мы договорились с соседом Виталием, что выроем погреб сразу на две семьи, и в середине мая взялись за работу. Мало что в своей жизни я делал с таким наслаждением, как тогда, когда мы с отцом и Виталием копали котлован. Лучше всего то, что эта работа не требовала ни навыка, ни размышлений, — как говорится, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вечера стояли погожие, тёплые; вокруг всё цело; мы работали под сопровождение сочно щёлкавших по садам соловьёв и под нежный гул майских жуков. Отстояв день за операционным столом, я с наслаждением разминал поясницу, сгибаясь и разгибаясь, выбрасывая землю из ямы. Нечасто я окунался в такой же блаженный покой, как тогда, день за днём погружаясь в землю: по колена, по пояс, по грудь. Мне даже мерещилось, что, когда я скроюсь в земле с головой, — покой, которого я так ищу всю свою жизнь, станет полным и необратимым.

Лопат у каждого из нас было две — совковая и штыковая. Штыковой мы рубили плотную глину, крошили её на упругие ломти, то рыжеватые, то синеватые, а совковой выбрасывали грунт из ямы. И хорошо, что лопаты чередовались, потому что менялись наши движения и мышцы, которые мы напрягали. Конечно, сейчас я в четверть тех сил не сумел бы работать. Но тогда, когда мне было тридцать три года, казалось, что я, если нужно, докопаюсь до центра земли. До сих пор помню шарканье, с каким лопата скользит по дну ямы, собирая глиняные комья, и то, как эти комья взлетают на фоне цветущих яблонь и вишен...

Когда котлован оказался выкопан, мы трое оказались чуть ли не разочарованы тем, как быстро вынули грунт, и тем, что теперь предстоит уже не такая простая работа. Но мы справились и с бетонированием основания погреба, и с кладкой кирпичных стен. Тем более, уж с чем-чем, а с каменной кладкой я знаком со студенчества. Мы как раз удачно купили машину красного кирпича — ещё тёплого, только что из печи — и начали кладку. Руки мои быстро вспомнили, как нужно держать кирпич, мастерок и отвес. Опять, как когда-то, я чувствовал левой рукой шероховатые кирпичные грани, а правой ощущал, как мягкая клякса раствора расплзается под языком мастерка. Стена росла быстро — мы клали её в полкирпича — и теперь я не погружался в котлован погреба, а, напротив, всплывал: сначала из ямы показалась моя голова, затем плечи, спина — и вот уже я заканчивал кладку, стоя на краю котлована.

Интересной работой оказалась гидроизоляция стен. Куски битума мы растапливали в ведре; огонь лизал закопчённое днище, а лаково-чёрные, клейкие ломти таяли и оплывали, и всё больше радужных нефтяных пузырей поднималось и лопалось в недрах ведра. Квач — ветошь на палке — наматывал на себя тягучую чёрную массу и пачкал её красные кирпичи кладки. В потёках битума по кирпичам чудилось что-то зловещее; отчего-то и мысли об адских котлах приходили в голову при виде того, как чадит и бурлит наша битумная жаровня.

Обернув стены снаружи полосами рубероида и ещё раз промазав битумом швы, мы подсыпали и утрамбовали грунт вокруг стен, отчего котлован сразу уменьшился до размеров кирпичной коробки. Непривычно и странно было рассматривать эту прямоугольную нишу в толще земли — практически комнату, в которой, при крайней нужде, можно и жить. Интересно, что ныне такие вот, углублённые в землю жилища — едва ли не тренд, то есть самая модная штука. Их называют “лисьими норами” и на просторах всемирной Сети на все лады расхваливают их оригинальность, удобство и экономичность.

Не знаю уж, каковы на деле преимущества “лисыих нор”, но в самом появлении их среди современных жилищ человека мне чудится некий возврат к первобытности, к тем землянкам, в которых наши далёкие предки обитали тысячи лет назад. И, пожалуй, не одно лишь стремление к оригинальности и дешёвизне загоняет людей в “лисыи норы”, но и нарастающий страх перед будущим, ожидание последних времён, когда лишь в подземельях, возможно, спасутся последние из обитателей нашей планеты.

Но нам при строительстве погреба об Апокалипсисе думалось редко: уж очень дружно и весело двигалась наша работа. А главный опыт, который мы приобрели, — тот, что земля и лопата есть главная наша опора в тяжёлые дни. Пока руки держат лопату — для того ли, чтобы вскапывать целину для посадки картофеля, или для того, чтобы выкопать погреб, где этот же самый картофель будет храниться, — можно вытерпеть многое. Человек с лопатой в руках, как солдат с винтовкой наперевес, не побеждён до тех пор, пока не бросает оружие и стоит на земле, защищая свой дом.

Владимир Даль в своём собрании русских пословиц записал и такую: “Чердачная мышь погребной не сестра”. И сейчас, после того, как мы погружались в погреб, неплохо бы слазить и на чердак.

В детстве нас на чердаки влекло неудержимо. С верхней лестничной площадки нашего дома можно было вскарабкаться к люку, который с хрустом откидывался, осыпая на голову керамзит вперемешку с сухим голубиным помётом; но нам, детям, залезать на чердак запрещалось, и поэтому нас с особенной силой тянуло туда. Уже в момент открывания люка ты ощущал пыльный ветер, от которого часто моргали, слезились глаза, — ветер, тянувший сквозь откинутый люк наверх, в подкровельное пространство, и будто втягивавший тебя в малящие сумерки чердака.

Первое, что изумляло, — то, как чердак огромен. Глядя на нашу двускатную крышу снаружи, никак нельзя было предположить, что под листьями старого, уже мхом покрытого шифера скрывается так много гулкого, ветреного пространства. То ли причиной тому было наше детское восприятие — мы были малы, а мир вокруг — велик, — то ли и впрямь на чердаке отменялись привычные соотношения длин и объёмов? Иначе как объяснить, что из конца в конец чердака ты мог пробираться — и пробирался — чуть ли не час, тогда как внизу, вдоль стены дома, ты такое же расстояние пробежал за стремительные секунды?

И как мог чердак вместить столько предметов, которые поочерёдно встречались тебе, пробиравшемуся на осторожных ногах или даже на четвереньках, по хрустящим окатышам керамзита? Битый шифер, шершавый и колкий, обрывки верёвок и ржавые гвозди, бухты скрученной проволоки, рукава телогреек, подмётки, пустые бутылки и голенища сапог, кирпичи в голубином помёте — всё это словно всплывало перед тобою, пока ты пробирался между подпорок строил, а потом вновь тонуло в холодных и дышащих пылью потёмках. Порою ты видел, как сквозь щели и дыры волнистого шифера кровли пробиваются иглы солнца, будто мохнатые от той пыли, что медленно движется в них. Но так было лишь в ясные дни; в непогоду дневной свет проникал под кровлю через два слуховых окна, служивших входом не только для света, но и для многочисленных облубовавших чердак голубей. Бывало, над твоей головой запыленно захлопают крылья, и тебя обдаст волной мягкого пыльного взрыва! Пара птиц, шумно взбив воздух, затмит на мгновение свет слухового окна — и канет наружу. Да, голуби-сизари всегда жили здесь — чердак представлял собой, можно сказать, голубятню, — их воркованье и хлопанье крыльев, и цоканье лапок по шиферной кровле были едва ли не главными здешними звуками. Сизари и рождались здесь, и умирали: на шуршащем сухом керамзите нам нередко встречались большеглазые и голенастые голубиные мумии. Так что чердак служил своего рода кладбищем птиц — и лёгкий, почти неощутимый на сквозняках дух голубиного тления присутствовал здесь постоянно.

Припоминаются и зимние посещения чердака. Когда там, наверху, что-то случалось с водопроводными трубами, и хмельные сантехники, вызванные

из жилищной конторы, оставляли люки открытыми настежь, мы, пацаны, словно этого только и ждали. Залезешь наверх — и вдруг поразишься тому, до чего ж, по сравнению с летом, чердак зимой мал: словно он, как и любой предмет, съёживается от мороза. То, что летом представлялось огромным и сумрачно-гулким, почти безграничным, теперь, в холода, кажется жалким, маленьким и сиротливым. Или причиной тому глыбы зеленовато-серого льда, нараставшие над кирпичными трубами вентиляции, и такие же, зеленоватого цвета сосульки, свисавшие с ригелей кровли? Из дыр вентиляции непрерывно тянул влажный пар — он-то и создавал ледяные наплывы, а кровля сочилась капелью; и всё это вместе: лёд, пар и капель — вызывало в душе чувство острой тоски. Жизнь всего дома казалась хрупкой и ненадёжной — под воем метели снаружи, под этими глыбами зеленоватого льда и под чмокание непрерывной чердачной капели...

Возле наших жилых двухэтажных домов стоит ряд деревянных сараев — типичного для России “самозастроя”. В русской провинции всюду, где только возможно, рядом с жилыми домами возникают сараи, сарайчики, будки, погребки, курятники и голубятни — строения-спутники, сопровождающие многоквартирные городские дома. Порой кажется, что эти сараи не могут отстать, отвязаться от человека (корнями, как правило, сельского жителя) и сопровождают его, как какая-нибудь собачонка, которая не может бросить хозяина, оставившего свой старый дом и пустившегося на поиски лучшей доли. Так они, эти будки-сараи, и бредут за людьми, довольствуясь самыми негодными и бросовыми местами, притыкаясь там и сям, зарастая травой и ветшая, но сберегая в себе что-то важное и необходимое человеку.

Да и сами обитатели городских домов чувствуют, что их жизнь не помещается в типовые квартиры и нуждается в чём-то своём, сугубо индивидуальном, пусть это “своё” и выразится всего лишь в щелястом, с дырявой толевой кровлей сарае, в котором хранится всякая рухлядь, от сломанных лыж до покорёженных детских колясок.

И понятно, что наши сараи, — по сути, дома нищеты. Лишь бедность и ожидание худших времён не позволяют нам выбросить отслужившую, старую вещь. А вдруг она снова понадобится? Или, по крайней мере, можно будет использовать те детали, из которых она состоит, — разные там доски-рейки, пластины и гвозди, шурупы или провода? И поэтому часто сараи — своего рода преддверие свалки: генетически-цепкая память революций, пожаров и войн, и порождённого ими глота и мора не позволяет нам сразу избавиться от обветшалого хлама, а создаёт некий буфер между жилищем и мусорным баком.

Вот и наш сарай, что стоит в ряду деревянных собратьев, через дорогу от дома, в непростые для всех девяностые годы прошлого века служил, по сути, домашней свалкой. Мы не просто носили туда всё негодное, что оказывалось в доме, но, случалось, ещё и притаскивали в сарай что-нибудь, найденное на улице. Это мог быть моток проволоки или крепкая обрезная доска, столешница или табурет, топор без топорика или черенок от лопаты. Неудивительно, что при таком отношении к сараю, вполне типичном для русского человека, он превратился в помесь мусорной свалки с музеем старинного быта.

Что пылилось в углах и на полках сарая? Какое-то время, к примеру, здесь обитала старинная прялка. Резные балясины-столбики и большое колесо с деревянными спицами были настолько легки и изящны, что, увидев ту прялку возле мусорных баков, я не мог не притащить в сарай это рукотворное чудо. Много перебивало в сарае и лыж: от деревянных, ещё с ремёнными креплениями (а палки к ним, кто помнит, из суставчатого лакированного бамбука), до современных пластиковых. И часто те лыжи бывали непарными: поломав одну где-нибудь на бушмановской горке, я не решался выбросить вместе с ней и другую и оставлял овдовевшую лыжу пылиться в сарае. Правда, сколько я помню, ни одна из непарных лыж так и не дождалась себе такого же одинокого друга и не составила с ним новой пары.

О разных коробках и старых ботинках, о поломанных детских игрушках, об исписанных школьных тетрадах, остатках обоев, банках с олифой

и старую краской, пакетах шпатлёвки, граблях и лопатах я много распространяться не буду: такого добра хватает в сарае у каждого. Но вот о чём надо сказать обязательно — это о байдарках и велосипедах.

Да, они тоже хранятся в сарае, и с них начинается новая тема, ведущая нас прочь из дома, в ту даль, о которой напоминают нам эти шины и спицы, педали и сёдла, и эти брезентовые тюки, в которых, когда их случайно заденешь, позвякивают шпангоуты, вёсла и стрингеры. Благодаря велосипедам и лодкам наш старый сарай — ещё и хранилище странствий, как прежних, уже совершённых, так и тех, что ещё, может быть, предстоят. Дом без возможности странствий — не вполне дом, а что-то вроде тюрьмы; равно как и путешествие без того места, откуда ты вышел и куда надеешься возвратиться, превращается просто в скитание, в наказание и проклятие для человека.

Вот и мы, оттолкнувшись от стен старого и уже накренившегося сарая, пожалуй, отправимся в странствие.

IV

Тема странствий, блужданий, походов — одна из важных тем моей жизни. Я даже нашёл ей генетическое обоснование. Отец моего отца Василий Афанасьевич Убогий, командовавший стрелковой ротой и погибший под Ленинградом в декабре 1941 года, был кубанский казак. Получается, в моих жилах, помимо крови курских крестьян (с Курцины большинство моих предков), четверть крови — казачья. А казаки, как известно, народ вольный и больше привязанный к бурке, коню и седлу — чем к жене или хате. В прошлом некоторых казаков называли “бродниками” — людьми, не имевшими дома и свободно бродившими по белу свету.

Вот и я — как я сам себя ощущаю и сознаю — примерно на три четверти человек оседлый, привязанный к дому, укладу, порядку, семье; а на четверть — бродяга и странник. В каком-то воображаемом идеале собственной жизни я и хотел бы примерно три четверти года жить дома, а четверть — проводить в путешествиях. Конечно, в реальности странствия занимали куда меньше времени, но, не будь их совсем, я ощущал бы свою жизнь неполноценной.

Всякий, кому довелось путешествовать, знает: для странника дом — ценность едва ли не большая, чем для оседло живущего человека. Тот, кто изо дня в день и из года в год живёт в доме, может совсем перестать его замечать и ценить: так рыбы не замечают воды, в которой они обитают, а большинство людей не замечает воздуха, которым дышит. Но стоит рыбе оказаться выброшенной на берег, а человеку испытать приступ удущья, как им сразу становится ясно, где и в чём заключается жизнь.

Что-то подобное — обновление, освежение и углубление чувства дома — происходит и с тем, кто с домом расстался. Где, как не во время похода, — холодной ли ночью, или под проливными дождями, или в палящий зной, загребая ногами дорожную пыль, — так мечтаешь о доме?

Даже расставаясь с домами и уходя из них, чтобы странствовать, люди порою берут дом с собой. Речь идёт о палатках, этих походных жилищах, которые, с одной стороны, создают лишь иллюзию дома; но, с другой стороны, важнейшие признаки дома всё же присутствуют в них, и человек, в чьём рюкзаке лежит свёрнутая палатка, является домовладельцем. Во-первых, в палатке он будет укрыт от дождя и от ветра, этих главных врагов путешественника (и ещё защищён от мошки, гнуса, слепней, комаров — ото всей той летающей нечисти, что способна превратить поход в сущий ад); и во-вторых, палатка создаёт тот эффект “внутреннего пространства”, который и есть отличительный признак жилища. Попробуйте всего лишь обнести верёвкой участок лесной поляны или приречного луга, и вы сразу поймёте, о чём идёт речь: “внутри” всё сразу станет иным, чем “снаружи”. А уж если вас отгораживает от внешнего мира не просто верёвка, а стены палатки, то внутреннее пространство будет обозначено ещё чётче. Чем-то этот эффект сродни тому детскому залезанию под одеяло, с которого я и начал писать о домах.

Я впервые узнал, что такое палатка, когда мне было семь лет и родители взяли меня с собой на Угру. Та палатка, в которой мы жили, была из брезента — теперь таких не найдёшь! Она тяжёлая и не очень удобная, но для меня она так и осталась незабвенной и идеальной — палаткой как таковой. Все детали её — скаты, верёвки-оттяжки и кольца, кармашки и сетчатые оконца (их было два), шнуровка на входе — всё помнится даже не просто отчётливо-зримо, но с чувством комка, подкатившего к горлу. Палатка было словно дверью в иной, сказочный мир, где горели костры и восходы-закаты, где были купания и земляника на солнечных склонах, был запах хвои, сосновой смолы и брезента, нагретого солнцем, — мир, который доселе, спустя пятьдесят лет, вспоминается, как едва ли не лучшее из того, чем судьба одарила меня.

Памятен ежевечерний обряд выкуривания комаров. Сначала на углях костра разжигались сосновые шишки. Их сухие, невзрачные серые шарики преображались, когда их напитывал огненный жар: лепестки раскалившихся шишек становились розово-полупрозрачны, и вся шишка напоминала светящийся нежный цветок.

С десятков таких вот светящихся шишек зачёрпывался жестяною консервной банкой из-под тушёнки — белый дым начинал вытекать из неё, — и с этим “дымарём” моя мама залезала в палатку. Всё пространство под пологом тотчас оказывалось наполнено густым дымом, который валил и из входа, и из затянутых сеткой окошек, и даже просачивался сквозь брезент. Уже секунд через десять мама, жмурясь и задыхаясь, выбиралась наружу. На неё было жалко смотреть — лицо красное, из глаз слёзы, — но на что не пойдёшь ради сына и мужа? Пока она приходила в себя, отец, торопясь, зашнуровывал вход. Это не так-то просто: приходилось вдевать деревянные шпильки в непослушные петли, всё это путалось в пальцах, отец злился, палатка закрывалась медленно, и выкуренные комары преспокойнейшим образом успевали в неё возвратиться.

Но что комары, когда молодой сон в палатке, после бесконечного дня, проведённого в летнем раю среди сосен, на берегу прекрасной реки, был так крепок, что я как-то умудрился проспать даже грозу, бушевавшую ночью над нашей палаткой. По рассказам родителей — да и по опыту гроз, которые мне довелось пережить после, — я хорошо представляю, как скаты дрожали и прогибались от струй низвергавшейся с неба воды, как гремел гром и как внутренность нашей палатки озарялась нервическим светом сверкающих молний. А мама — сама ни жива, ни мертва — прикрывала меня, крепко спавшего, от летающих над палаткой молний своими ладонями! И ведь прикрыла: я с той поры прожил полвека, и сейчас вспоминаю то лето, когда руки матери оказались самой надёжной и несокрушимой кровлей на свете.

Конечно, после той “брезентухи” бывали в моей жизни и другие палатки, каждая из которых была по-своему хороша. Например, военные шатровые палатки, стоявшие на дощатых помостах, в которых мы, молодые легкоатлеты, жили на летних тренировочных сборах. Проснёшься в ней утром под трель свистка тренера — и, успев натянуть только спортивные трусы, ещё сонный, босиком выбегаешь на утреннюю разминку, а это четырёхкилометровый кросс по песчаной тропе среди сосен, в смолистом воздухе летнего бора и в том ощущении неистощимости собственных сил, какое бывает лишь у пятнадцатилетнего юноши.

А жёлтый чум под названием “Лотос”, который однажды взлетел над обрывом при сильном порыве внезапного ветра, и мы с другом Виталием едва успели схватить его, прежде чем он упал в весеннюю мутную Жиздру.

Или польская трёхместная “Вертикаль”, в которой всё наше семейство — я, жена, сын и дочь — размещались во время семейных байдарочных сплавов, а наш пёс Луи (седой и лохматый, задумчивый шнауцер) с кряхтением укладывался в “предбаннике”. Луи, даже спящий, знал своё дело сторожевого пса — охранять дом — и сквозь дрему сонно порывал на те шорохи, что раздавались в ночи возле нашей палатки.

Но как бы ни были хороши все эти палатки — и лёгкие, и удобные, и современные, — сердце навеки отдано первой любви. Только в ней, в “брезентухе” далёкого детства, возникало домашнее чувство уюта и защищённости. И тем удивительней, что оно возникало под какой-то всего лишь брезентовой тряпкой, подёртой двумя жердями и растянутой на восьми верёвках. Значит, в палатке мы обретали не столько сам дом, сколько его, дома, идею. Мы создавали и ощущали границу меж нами и миром, и это нам помогало почувствовать реальность собственного существования. К декартовой формуле: “*Cogito ergo sum*”, — можно добавить: “Я существую ещё и тогда, когда между мною и миром есть граница, преграда; когда я живу пусть даже в тряпичном, но всё же в доме”.

Возможно, вы спросите: ну, а как же бродяги, у которых дома нет вообще? Они что же, не существуют? Но у любого бродяги есть хотя бы одежда, прикрывающая его наготу, — она и играет роль примитивного дома — и есть, в конце концов, тело, а уж с этим-то домом души одна только смерть может нас разлучить.

Вспоминая палатки собственной жизни, не могу не припомнить и первых походных ночёвок детей. Ведь для них это был тоже важный опыт общения с домом. Заночевать первый раз в жизни вне дома, в палатке — означало, с одной стороны, пережить со своим родным домом разлуку. Но с другой стороны, первая “палаточная” ночёвка была и опытом обретения дома — именно в том смысле, о котором мы только что рассуждали.

Ко времени первых походных ночёвок и Диме, и Даше исполнялось как раз по пять лет; и прошли эти ночёвки там, где сливаются речки Городенка и Калужка. Здесь хорошо различимы следы древнего городища вятичей, и это место слияния двух небольших, милых речек доньше радует глаз своей живописностью. Над приречной долиной ровной террасою из соснового леса выступает то самое городище, на котором мы и разбивали наш лагерь.

Димке, помню, досталась холодная ночь. Туман затянул луговину, по траве было трудно ступить от обильной росы, а по небу, розовеющему на закате, бесшумно носились летучие мыши. И Димка, укутанный нами во что только можно, перед тем, как залезть в палатку, заметил мышинные промельки в небе — и радостно крикнул:

— Здравствуй, летучая мышь!

Не знаю, что думала и что ответила мышь, но мы до сих пор вспоминаем тот Димкин радостный возглас, то ликование ребёнка пред миром, что только лишь начал во всю свою ширь открываться ему.

А Даше досталась, напротив, жара. Уже с утра склон парил, коровы с мычаньем и топотом двигались мимо палатки, и уже по коровьим тоскующим вздохам можно было представить, насколько томительно-знойным окажется день. Мы с Димой рано ушли на рыбалку, а пятилетняя Даша в ожидании завтрака и возвращения брата с отцом принялась собирать землянику. Но ползая по склону в лучах уже знойного солнца ей было непросто; и вот, чтоб себя подбодрить, она сочинила стишок:

*Собираю землянику — просто умираю...
Вспомню, что отцу и брату — сразу оживаю!*

Как же нам не любить это место, где дети так живо и так светло проявили себя? И, может быть, опыт первых ночёвок в палатках сыграл не последнюю роль в становлении их детских душ, в том, чтобы чувствовать одновременно любовь и доверие к дому — и к миру, который наш дом окружает?

А много лет спустя жизнь подарила мне ещё одно впечатление, связанное с палаткой. В нашей семье появилась Анюта, дочь Димы и Сони, и моя жена Лена купила годовалой внучке подарок: игрушечную розовую палатку, в которой могла поместиться лишь только сама Анюта да ещё, разве, наш старший шнауцер Луи, к тому времени достигший возраста собачьего патриарха. И вот наблюдать, как Анюта то залезает в палатку и лукавыми глазами поглядывает оттуда, то вылезает наружу, чтобы прихватить какую-нибудь

игрушку и с ней снова забраться в свой розовый домик, — наблюдать это всё было сущим блаженством для меня, деда. Я видел, что наша семейная палаточная эстафета передана новому поколению — четвёртому, если считать от моих родителей — и теперь уже для Анюты пришло время познавать тайны дома.

Хочется вспомнить о самых северных из домов, в которых мне довелось побывать. Это были зимовья — таёжные охотничьи избышки, стоявшие по берегам архангельских рек. Мы с другом Лёшей сплавлились по ним на байдарке; палатка, конечно, у нас имелась, но, встретив избышку, трудно устоять перед искушением переночевать в ней.

Тайга, что тянулась вдоль северных рек — Кодины, Сиы, Ваймути или Онеги, — была, прямо скажем, не ровня нашим смешанным среднерусским лесам. Из деревьев росли здесь всё больше тёмные ели да лиственницы; следов человека можно было не встретить за два-три дня хода; и отойти от реки в тайгу дальше, чем на пару сотен шагов, я опасался: заблудиться в этих дремучих лесах мне вовсе не улыбалось. В буреломной еловой глуши всегда было сумрачно и жутковато. Ноги здесь не ощущали надёжной опоры: ступать приходилось по ломавшимся сучьям, осклизлым корням и по зыбкому мху, из которого, пенясь и чавкая, выступала вода. А космы лишайников, что свисали с еловых сухих бородавчатых лап? А громадные бурые шляпки грибов, перепрелых и слизистых, словно медузы? Заденешь ногой такой гриб — и он, чмокнув, шлёпнется на подстилку из сломанных сучьев, хвои и мха и тут же исчезнет, просочившись меж веток: тайга словно жадно проглотит его. И уже опасаясь: а ну, как проглотит она и тебя? Тем более что, зацепившись ногою за корни, упав ничком и пытаясь достать до земли, ты испытываешь леденящую оторопь, чувствуя, как рука твоя тонет без всякой опоры в сырой глубине...

Так что общение с дремучей тайгой оставляло тяжёлое чувство. Тем радостней было, скользя по реке вдоль зубчатой стены тёмных елей, увидеть пригорок, просвет — и на этом пригорке бревенчатый сруб под кровлей из грубо отёсанных плах. Знакомиться с каждой новой избышкой всегда интересно. Как и лица людей, они не походили одна на другую: у каждой избышки свой собственный облик, характер и настроение. Но везде печка и нары, и везде можно найти спички, соль и свечу. Очень трогало это приветствие — или послание — от людей, которых мы никогда в жизни не видели и никогда не увидим, но которых мы вполне могли считать своими друзьями.

После ночёвок в палатке всё в избышке казалось верхом комфорта. Тут тебе и обустроенное кострище с надёжной перекладной — вешай зараз хоть три котелка! — и сухие дрова под навесом (обязательно между поленьями всунут рулон берёсты для растопки), и стол со скамьёй из еловых жердей, так что трапезничать можно удобно, и с видом на реку, да ещё на гвоздях, вбитых в стену избышки, висят котелок, сковородка и пара кружек — на тот случай, если мы, например, утопили свою посуду, совершив оверкиль где-нибудь на речной быстрине.

В избышках обычно всё было настолько продумано, что приготовление, скажем, походного ужина превращалось из нудной мороки в чистое удовольствие. Всего и забот: зачерпнуть котелком воды, спустившись к реке по вырубленным в береговом склоне ступеням, от лоскута берёсты запалить костерок из еловых или берёзовых чурок да подождать, пока поспеет уха или каша.

И ещё: стосковавшись по людям за те две недели, что мы обитали в тайге, на все предметы, детали и признаки цивилизации, которые прежде воспринимались как догучливый и раздражающий мусор, теперь мы смотрели иными глазами. Всё привлекало внимание и вызывало живой интерес: и красная гильза охотничьего патрона, обронённая где-нибудь возле порога, и верша, сплетённая из ивовой лозы, и гнутая кочерга возле печки, и даже приколотая к стене фотография голой журнальной красотки, которая явно недоумевала: как и зачем она здесь очутилась? Можно сказать, что таёжная эта избышка возвращали нам интерес и доверие к человеческой цивилизации —

и мы уже были не против снова вернуться в тот мир, где так томилась недавно. Эх, всё же мы дети города, и в глухой чаще тайги чувствуем себя чужаками. А вот избушка — это родной нам мир: он создан людьми для людей и всегда рад их появлению.

Так что наша ночёвка в избушке была своего рода возвращением на родину после недолгого бегства в тайгу. Даже её теснота, горький запах золы из печи, даже мыши, которые неустанно скреблись-копошились под полом, воспринималось не как неудобства, но как проявление внимания этой избушки к нам, людям. Да что говорить: даже блохи (наверное, их натащили собаки, что ночевали здесь вместе с охотниками) — блохи, которые заставляли нас ночью вертеться, кряхтеть и почёсываться, — даже они мне казались почти что друзьями, и я не сердился за столь откровенное проявление их интереса ко мне.

А если вдруг сквозь непрочный сон слышалось, как по кровле сечёт дождь, то как же уютно дремалось в избушке под шум непогоды! Даже хотелось, чтобы ненастье усилилось, чтобы пуще выл ветер, скрипели-шумели деревья, лил дождь, потому что тем драгоценнее был тогда этот подарок: избушка в тайге, приютившая нас в непогоду.

А теперь можно вспомнить и самый южный из тех домов, где мне довелось пожить. Дом Мубиджона-аки в Бухаре, построенный почти триста лет назад предком нынешнего хозяина, водившим караваны по Великому шёлковому пути. Караванное дело было весьма уважаемым и приносящим, при всех его рисках, немалый доход: даже по нынешним меркам, дом Мубиджона-аки казался зажиточным. Планировка, типичная для городских жилищ Азии: дом выстроен вокруг огромного дерева — старой раскидистой шелковицы, защищавшей обитателей от южного солнца. В иных домах, правда, вместо дерева мне случалось видеть бассейн и фонтан; но и зелёное дерево, и журчащий фонтан — это всё атрибуты магометанского рая, о котором как раз и старался напомнить своим обитателям и гостям всякий мало-мальски благоустроенный дом Средней Азии.

Хозяин, поджарый и бодрый старик семидесяти пяти лет, — некогда он был чемпионом Узбекистана по спринту и бежал “сотку” за десять и две — превратил свой дом в небольшую гостиницу. По-русски хозяин говорил прекрасно и, увидев, что я проявляю интерес к старинному дому, охотно показывал мне его. Двор с шелковицей окружала анфилада комнат, каждая из которых поражала своей пустотой: ни окон, ни мебели. Скатанные рулоны постелей лежали у стен на полу; а для хранения разных вещей — посуды, книг, утвари — в стенах сделаны ниши.

— А как же зимой? — спросил я хозяина. — Ведь, наверное, холодно?

— Холодно. — отвечал Мубиджон-ака. — Для обогрева у нас сандали.

И объяснил, что это такое: в углубление глинобитного пола насыпаются горячие угли, сверху ставится столик, накрытый войлочной кошмой, и люди усаживаются вокруг, просовывая под стол ноги. Чем-то это напоминает обогрев возле караванных костров — тех, у которых провёл много ночей самый первый владелец старинного дома. Да и весь дом чем-то напоминал палатку кочевника. Мало того, что он был аскетично-простым (нам, европейцам, дом без мебели даже трудно представить), но он был таким необременённым самим собой, что казалось: собрать и сложить этот дом, чтобы двинуться в путь по ветрам и барханам пустыни, — совершенно пустяшное дело. Вот только выпьем ещё по пиале кок-чая, погреемся у сандали — и тронемся по Великому шёлковому пути...

Показал мне хозяин и то, как устроены стены. На уровне полуподвала, где некогда располагались кухня и кладовые, одну из несущих стен отчищали от штукатурки, и её анатомия выступала наглядно. С удивлением я увидел вертикально стоящие брёвна, промежутки между которыми были не то, что уложены, а засыпаны чуть ли не мусором: обрезками брёвен и сучьями, камнями, хворостом и глиняными черепками. Связующим материалом служил саман — солома, перемешанная с навозом и глиной, — но в целом

впечатление от стен оставалось тревожное: казалось, они вот-вот должны развалиться.

— Конструкция очень надёжная. — Мубиджон-ака улыбнулся, как бы угадав мои мысли. — Эти стены пережили не одно землетрясение.

Тут я догадался, что антисейсмический дом и должен быть вот таким, эластично-подвижным: толчки ходуном заходившей земли не только не разрушают его стен, но, может быть, ещё плотнее их утрясают. И потом, когда я пил чай во дворе, в тени старой шелковицы, я думал о том, что строения, ветхие с виду, нередко как раз и оказываются самыми долговечными. Землетрясение или война скорее разрушат дворец; а ветхая хижина, если с ней даже что-то случится, будет вскоре починена или даже отстроена заново, и поэтому кажется: именно хижины — вечны.

Это же самое чувство — изумление перед неистребимой жизненной силой лачуг — посещало меня и тогда, когда я бродил по окраинам наших русских посёлков и городов. Проспекты с большими домами обычно вгоняют в тоску; а вот созерцание затрапезного быта окраин всегда пробуждает желание жить. Идешь, бывало, в Калуге где-нибудь по Берендяковке или Подзавалью — до недавних пор в этих районах было немало лачуг, кое-как прилепившихся к склонам, — и разглядываешь всё то обветшалое и до боли родное, что тебя окружает. Заборы обычно здесь нагорожены, из чего Бог послал: то из кроватных спинок, то из дырявых полос заводских штамповок, то из листов покорёженной жести. А если увидишь забор деревянный, то он будет стоять, скорее всего, как-нибудь набекрень. Для чего нагорожены эти заборы, даже трудно сказать: ни для человека, ни для пасущихся между заборами коз, ни для бродячих собак они не представляют серьёзной преграды. А уж для бурьяна — лебеды, бальзаминов, крапивы и хмеля — они вообще служат опорой. Вон как высоко взобралась плеть дикого винограда — с забора на старую яблоню, а с неё на ещё более старую, обомшелую крышу, — и кажется, что лишь тёмно-зелёная эта лиана и удерживает на склоне готовые рухнуть забор, дом и дерево.

А крылечки окраинных этих домов? Да, они покосились, осели и держатся, что называется, на честном слове; но зато эти тёплые старые доски, истёртые множеством ног — кто только не ступал на них и босиком, и в сандалиях, и в ботинках, и в валенках, и в солдатской “кирзе”! — эти тёплые доски всегда приглашают не просто ступить, а присесть на них и отдохнуть. А уж если ты сел на такое крыльцо — обязательно, пусть неосознанно, погладишь ладонью его тёплые доски. А какое количество живописных деталей можно увидеть с крыльца! Вон вбит в землю скребок для очистки подошв от грязи. Сейчас-то, в жару, он сух и чист; зато в ноябре железная эта скоба состругивает с сапог ломти глины, которые вяло шлёпаются на влажную землю, на бурые листья, на прелые яблоки, что лежат у крыльца.

А вон ржавая бочка под ржавой трубой водостока. Жизнь этой бочки меняется от сезона к сезону. В дождливое лето она переполнена пенной водой, непрерывно стекающей с крыши; если случается сушь, и воды в бочке мало, она даже подёрнется тиной и ряской; осенью в бочке плавают жёлтые листья яблонь и красные — груш. Зимой бочку переворачивают, и над ней вырастает пухлый сугроб; а в солнечном марте капля стучит в её жестяной гулкой бок, и бочка тогда превращается в праздничный, славящий жизнь и весну барабан.

Что мы видим ещё, озирая заросший сиренью или акацией дворик? Конечно, скамейку — обычно простецкого вида, на двух деревянных столбах. Но хоть она и неказиста, её все любят: и люди, и кошки, и куры, которые норовят себе выкопать пыльную ямку в её тени и лежать там, лениво квохча, в безмятежные жаркие полдни. А уж кому только не довелось посидеть на этой скамейке, от малых детей, чьи загорелые ноги болтались, не доставая травы, до стариков и старух, чьи тяжёлые стопы казались недвижно и мертво вросшими в землю. И ведь скамья поддерживала их всех, для детей служба как бы трамплином для роста и взлёта, а для стариков образуя подпорку, которая им позволяла какое-то время удерживать малый зазор между ними и властно зовущей землёй.

Вспомним ещё и отели, места временного приюта для тех, кто путешествует по миру. То, что отель — это дом ненастоящий, ясно любому. В нём не происходит важнейшего: укоренения человека в том месте, где он живёт. Главные узлы жизни в отелях, как правило, не завязываются: в них не рождаются и не умирают; а если такое и происходит, то это, скорее, случайность. Если отель и служит домом, то одноразовым, как пластиковая посуда.

Прообраз отеля — постоялый двор, то есть дом у дороги, стол и постели в котором сдавались пешим и конным. И он чем-то напоминает продажную женщину, которая тоже стоит у дороги и тоже готова за некую плату предоставить себя проезжающим и проходящим. Недаром, кстати, отели и падшие женщины — это испокон веку неразлучная пара.

Но с другой стороны — разве отели не нужны людям? Разве они не согревают холодный наш мир? А то, что они предназначены в основном для скитальцев и странников, так разве и все мы не странники и не скитальцы, не краткие гости в том мире, где мы появились, поели-поспали и вот-вот должны будем освобождать жилплощадь? Нет, я искренне благодарен тем странноприимным домам, в которых мне доводилось пожить.

Так, в Египте из того небольшого отеля у моря, где мы поселились с женой, мне памятен стол на веранде, стоящий на нём стакан виски “Джонни Уокер” (что означает, кстати, “гулёна Джонни” — отличный выбор для путешественника) и пыльный, горячий ветер хамсин, который раскачивал пальмы над крышей отеля. Чешуйчатые стволы скрипели и гнулись, а ребристые жёсткие листья-ваии так иступлённо мотались под ветром, что было странно, как они не отрываются и отчего не оставляют царапин на синем, сияющем, вечном небе Египта?

Вообще чаще вспоминается даже не сам отель, не его номера и кровати, — это, как правило, одинаково во всех на свете отелях “средней руки”, — а вспоминается окруженье отелей. Скажем, в Праге — это “пивница” где-нибудь неподалёку: гул голосов и табачный дым, пивные кружки на грубых столах и прилипшие к мокрым доскам клочки серой бумаги, на которых официантки палочками отмечают количество заказанных кружек. В этих старых, прокуренных пивницах, как и в пражских кафе, и на пражских мостах, и на ночных улицах с красными фонарями, ощущается атмосфера какой-то уютной порочности, той, что не только не разрушает покоя, порядка, уклада налаженной жизни, а, напротив, чуть ли не укрепляет пражскую жизнь.

Что вспомнить из Греции? Ну вот, скажем, Дельфы — те самые, где неподалёку от руин Аполлонова храма журчит знаменитый Кастальский ключ. В отеле на узкой улочке Дельф меня, помнится, разбудил гулкий грохот мусоровоза под окнами; но когда я, зевая, вышел на балкон и глянул сначала влево, на серо-зелёный склон уходившего к тучам Парнаса, а потом вправо, на синеватую дымку, что укрывала долину и море, был забыт грохот мусоровоза, и досада на его жестяной грохот. Мысль: “Я на Парнасе!” — одна овладела душой; мог ли я думать, что судьба приведёт меня в эти места, где живут не одни только люди, но где обитает само вдохновение?

В черногорской Будве наш отель выходил окнами на небольшую площадь, где допоздна меж столиков уличного кафе играли музыканты и выступали танцоры. Но куда привлекательнее и танцев, и музыки были черногорские девушки! Они неспешно прохаживались взад-вперёд, порою присаживались за столики, чтобы выпить вина или кофе, а затем продолжали свой летний ночной променад. Окно отеля, из которого я на них любовался, создавало эффект театральной рампы: я был отгорожен от гуляющих девушек, их жизнь протекала мимо моей и никак с ней не пересекалась, но в то же самое время я как бы бродил по ночным, полным неги улицам Будвы вместе со смуглыми и длинноногими красавицами.

Отели, в которых я жил, были разными, от совсем нищенских до роскошных. Правда, в последние можно было попасть лишь по ошибке, как это случилось в итальянской Ферраре. При заселении нашей туристической группы возникла путаница, и нас с женой и дочерью вместо скромной ночлежки

определили в прямо-таки королевские апартаменты. Уже одна их прихожая была полноценным гостиничным номером, не говоря о громадной ванной комнате, которую вполне можно было сдавать под публичные бани, или огромной спальне, где под высоченными потолками даже летающим птицам нашлось бы достаточно места. И с тех пор в нашей семье прижился речевой оборот, обозначающий крайнюю степень роскоши: “Не хуже, чем в Ферраре”.

Зато в Индии, где мне доводилось спать и просто под небом, среди нищих, коров и бродячих собак, я четыре дня жил в крошечном номере, по скудности обстановки напоминавшем тюремную камеру. В этом номере были деревянные топчан из неструганных досок, табурет со стоящим на нём вентилятором (который, естественно, не работал), и ещё в стены было вбито несколько гвоздей, на которые я повесил рюкзак и одежду. Но, как ни странно, этой мебели — топчана, гвоздей и табурета — мне хватало вполне, и я не испытывал ни малейшего неудобства, когда после купания в Ганге и обеда, состоявшего из грозди бананов, я засыпал на топчане, и ни москиты, ни скорпионы не нарушали мой сладкий сон.

Любимым же местом в отелях для меня всегда были не номера, не рестораны, слишком обременительные для моего кошелька, а холлы, через которые, то затихая, то оживляясь, протекал почти непрерывный поток посетителей. Люди входили и выходили, шагали то налегке, то с поклажей, несли рюкзаки или катили сумки на колёсах, иногда задерживались и что-то сердито выговаривали персоналу или, развалясь, коротали время в удобнейших креслах (почему-то удобнее кресел, чем в холлах отелей, я нигде не встречал), в общем, люди жили своей кочевой жизнью, а я с интересом эту жизнь наблюдал. Где ещё, как не в холле большого отеля, можно увидеть настоящий парад человечества? Тут и непременные толпы японцев, обвешанных фотоаппаратами, и громогласные сытые немцы, и чопорные англичане, и французы с их нежно-картавою речью, и горячо жестикулирующие итальянцы, и испанцы, напоминающие наших brutальных южан, и негры, лоснящиеся, как сапожная вакса, и тяжёлые сербы, и белобрысые шведы, — словом, множество языков и народов пройдут перед тобой за те полчаса, что ты просидишь в холле отеля.

С этой темы — парад человечества в холле отеля — легко перейти к разговору о том, какое великое множество разнообразных домов существует на свете. Вот, например, эскимосское иглу. Восхищает уже одно то, что люди когда-то решили: такое жилище возможно. Сделать снег материалом для дома означало явить и отвагу, и наблюдательность, и волю к жизни. В эскимосском жилище многое необыкновенно. Например, то, что стены из снега пропускают и воздух, и свет, так что дом эскимоса днём не нуждается ни в освещении, ни в вентиляции. А отопление? Трудно поверить, но язычка пламени, что качается над плоской тюленьего жира, хватает, чтоб обогреть иглу до температуры плюс двадцать градусов в то время, когда снаружи лютуют тридцатиградусные морозы. И в такой вот снежной пещере, под завыванье метелей, под призрачным светом полярных сияний шла обычная жизнь эскимосов. Шились одежды из шкур, резались моржовые бивни, рассказывались какие-нибудь предания, зачинались, рождались и росли дети — и всё это в условиях, для человеческой жизни невыслышимых.

По сравнению с эскимосами жизнь кочевых степняков — монголов, казахов, калмыков — может показаться просто курортной. Хотя хорош курорт! Тут и зимние стужи, и летняя сушь, и, главное, ветер — он дует и ночью, и днём, он, кажется, выдувает и душу, и мозг человека, который дерзнул жить в степи. Вот для защиты от этого ветра, безжалостного и вездесущего, в основном-то и служат степные жилища. У нас в Азии это юрта или кибитка — разборный каркас, обтянутый войлоком, — а где-нибудь в Африке, среди барханов Сахары, — это полог из верблюжьих шкур, под которым семья бедуина находит защиту от ветра и солнца.

Такой тип жилища мы называем палаткой. В традиционных культурах их видов немало. Это и уже упомянутые юрта с кибиткой, и чум, и яранга,

и типы индейцев Великой равнины, и вигвамы, знакомые нам по романам Фенимора Купера. В этих жилищах главное — их простота и мобильность. Сегодня такой дом стоит себе где-нибудь в тундре или в прерии, а завтра простыли и угли в его очаге, и сам его след; такое жилище не будешь особо жалеть и оплакивать — ведь при нужде можно быстро построить другое.

Не забудем и о кибитках цыган: телегах с навесом, домах на колёсах. В них можно жить, не просто перекочёвывая с места на место, ведя с собой песни, коней и медведей, но можно существовать в непрерывном движении. Если главное качество дома — его неподвижность, то кибитка цыган есть такое же чудо, каким было бы, скажем, бредущее дерево.

Но есть и иной способ жить. Не идти по стенам за отарами или табунами, не подчиняться порывам степного бездомного ветра, но пускать корни в землю, на которой живёшь. Так возникает землянка, древнейшее из славянских, германских и скандинавских жилищ. Почувствовав власть земли, её тягу и силу, люди стали искать в ней защиту и буквально погружаться в неё.

Живут ли в землянках сейчас? Да, живут, и не только солдаты и бездомные жертвы войны. Так, на севере Африки есть троглодиты-берберы, которые зарываются в рыхлую землю и тем защищают себя от палящего зноя Сахары. Поселение троглодитов являет собою огромную круглую яму, из которой во все стороны прокопаны комнаты-норы. Если хозяйке норы нужна, скажем, полка для утвари, она просто-напросто откапывает ещё одну нишу в стене.

Но как ни спокойно, ни тихо в землянке, как ни спасает она от невзгод, люди всё-таки не подземные жители, и их тянет к свету, воздуху, солнцу. И вот землянка начинает как бы вырастать из земли: сначала на два-три бревенчатых сруба, а затем и во весь человеческий рост. Так появляется то, что мы и привыкли считать полноценным домом.

Традиционная русская рубленая изба — это целый мир из людей и животных, из разного рода припасов, ремесленных приспособлений и обрядовых украшений. Изба — это, можно сказать, Россия в миниатюре, с её языческим прошлым, сменённым на христианство, с её преданиями и песнями, с её способом выживать и строить свои отношения с миром и Богом.

Но чем южнее, тем меньше строевого леса, и на Юге России изба превращается в хату: гибрид северного деревянного и степного саманного дома. Деревянный остов южной хаты набран обычно даже не из полноценных брёвен — где их взять в украинских или южнорусских степях? — а из тонких, коротких бревёшек. Но зато изнутри и снаружи этот деревянный каркас обмазан глиной с навозом, крыт сверху соломой — и в итоге получается дом очень милого вида. А если хата ещё и недавно побелена, и наличники освещены голубой или жёлтой краской, то глаз от неё не оторвать.

Совсем же в степях, где леса нет вообще, ставились мазанки: каркасом стен в них служил плетень из лозы или тростника. Но, конечно, главный строительный материал степей — это саман: рубленая солома, перемешанная с навозом и глиной. Саманное жилище, в сущности, усовершенствованный шалаш, дом из травы. И жизнь в таком доме чем-то напоминает жизнь птицы в гнезде. Приют вроде есть, но он ненадёжен и хрупок; непогода — дожди и ветра — разрушают такое гнездо, и его ежегодно приходится подправлять; но зато из саманного дома легче вылететь и пуститься по белому свету, чтобы искать себе лучшую долю.

Кроме лесов и степей, есть ещё горы — и там, среди камней, живут тоже люди. Понятно, что и жилища они строят из того, что есть под рукой, — из природного камня. Разновидностей каменных традиционных жилищ немало: это и трулло южной Италии, и круглые пальясо горной Испании, и сакли Кавказа. Каково жить в таком доме, не знаю. Но несомненно: жилище влияет на душу живущего в нём человека. Думаю, что жизнь в холодном каменном доме тоже какая-то каменная. Уже одно то, что жестокие обычаи кровной мести зародились именно в горных местностях, среди каменных стен, многое говорит о душе и характере горных жилищ.

Какие ещё есть дома? Вот, к примеру, жилища на сваях — такие дома строят в Полинезии. Конечно, там, где накатывают тропические дожди или

океанские приливы, — там волей-неволей приходится приподнимать дом над землёй. В Индонезии, например, до сих пор строят хижины буквально на деревьях. И дом на сваях — или, тем паче, древесная хижина — со временем сам становится своего рода деревом. Из его свай тянутся корни и молодые побеги; птицы гнездятся на листовенных кровлях; а стены скрипят под порывами ветра точь-в-точь, как древесные стволы.

Но самые знаменитые в мире дома на сваях, — конечно, дома Венеции: целый город шагнул в море и расцвёл на зеленоватой воде лагуны. И когда стоишь где-нибудь на Сан-Марко, прислонясь плечом к одной из розоватых колонн Дворца дождей, и смотришь на яркую, в солнечных бликах, воду лагуны, то кажется: город, качаясь, плывёт в окружении лаковых чёрных гондол, вапоретто и грузовых катеров, плывёт в той мерцающей дымке, которая даже в погожие дни укрывает Венецию...

А теперь поговорим об Аркаиме. Среди множества разных домов, придуманных и построенных человеком, был и такой: дом-город, возведённый ариями в бронзовом веке на просторах южноуральских степей. И размечали, и строили Аркаим с первобытной и гениальной простотой. В землю вбивался кол, вокруг которого, привязав его на длинном сыромятном ремне, гнали коня. Конь скакал, ремень наматывался на кол — и скоро посреди ковыльной степи проявлялась круглая вытоптанная площадка, на которой и возводили дом-город.

Птицам, летящим над степью, Аркаим, должно быть, казался похожим на большое тележное колесо. Его ободом служил бревенчато-земляной вал, а стены домов сходились к центру, наподобие спиц колеса: стена одного дома являлась и стеной соседнего. Местом же общих собраний жильцов (считают, что жителей в Аркаиме было от трёх до пяти тысяч) служила небольшая центральная площадь — как бы колёсная втулка.

Как жилось древним ариям? Наверное, тесно: в одном отсеке круглого дома-города помещалась большая семья, от тридцати до пятидесяти человек. Зато надёжно решался вопрос с обороною Аркаима: жители были обязаны защищать свой собственный сектор наружной стены — что-то около пяти метров, — а уж семья из пятидесяти человек вполне могла выставить для нужд обороны десяток крепких мужчин.

Интересно, что в каждом из аркаимских жилищ было множество разных печей. Были печи варочные и отопительные, сделанные в виде длинных лежанок, были печи для обжига глины — аркаимцы уже освоили лепную керамику, — были печи металлургические, в которых плавил бронзу для наконечников стрел, и, наконец, были печи жертвенно-ритуальные, перед которыми огнепоклонники-арии выясняли свои отношения с высшими силами.

Но сейчас хочется сказать о другом: о том, что понятие “дом” в Аркаиме было неотделимо от понятия “город”, а “город” был неотделим от “государства”. В самом деле: у аркаимов были вожди и законы, язык и предания, религия и независимость, войско, территория, на которой они существовали — то есть в наличии все атрибуты полноценного, самодостаточного и суверенного государства. И все его граждане жили в одном-единственном доме!

Но Аркаим — не единственный пример дома, являвшегося одновременно и городом, и государством. Кто бывал во Флоренции и видел средневековые цеховые дома, тот со мной согласится: средневековый ремесленный цех был своего рода городом в городе и государством внутри государства. Цех, занимавший сумрачный каменный дом, похожий на крепость, имел жёсткую социальную иерархию, свод законов, нарушение которых каралось строго и неотвратно, цех вступал в договорные отношения как с другими цехами, так и с городскими властями, цех имел определённые географические, политические и экономические границы, цех, наконец, должен был выставлять ополчение при нападении внешних врагов или в случае внутренних междоусобиц, то есть он имел и свою армию.

Поэтому, стоя на флорентийской улочке где-нибудь недалеко от Дуомо, с его знаменитым куполом Брунеллески (“Дуомо”, кстати, переводится тоже как “дом” — вот как ветвится и множится наша тема!), и окидывая взором

эту сумрачную громаду — цеховой дом Средневековья — мы видим перед собою именно дом-государство.

Так что “дом” всегда много больше, чем просто стены и кровля, да комнаты с мебелью. Дом — ещё и уклад, и традиции быта, и память о тех, кто жил в этом доме до нас. Истинный дом всегда больше себя самого, как и настоящая жизнь человека всегда много больше тех места и времени, что отводятся ей в тесных рамках физического существования.

Когда мы рассуждали о разных домах, существующих в мире, мы ничего не сказали о кораблях, лодках, яхтах — тоже домах, но плывущих по водам. Пусть это и не дома на всю жизнь, такие, где растут дети и старятся их родители и где одно поколение сменяет другое; но даже временный дом — тоже дом: в конце концов, все дома в нашем временном мире не вечны.

О каких-нибудь яхтах или круизных лайнерах мне сказать нечего — я на них не бывал, — а вот с байдарками я знаком хорошо. И сборка байдарки где-нибудь на берегу весенней реки, посреди муравейников или кротовин, под трели жаворонка или щёлканье соловьёв — тоже своего рода строительство дома.

Отчего-то всегда торопясь и волнуясь — хотя никто нас не подгонял, — мы разносили детали лодки по сухой прошлогодней траве, раскладывая кильсоны, стрингеры и шпангоуты, на ходу вспоминая забытые за зиму навыки сборки байдарки. Корма и нос словно тянулись друг к другу, но пока не могли дотянуться — дуги шпангоутов пересекались блестящими трубками стрингеров, — а потом наступал момент, когда каркас лодки нужно было вставлять в чехол оболочки. Этот чехол — или “шкура”, на жаргоне туристов — был пошит из резины с брезентом; он тяжёл и слежался за зиму так, что его складки разминались со скрипом и хрустом.

А сколько заплат пятнало днище заслуженной, не один сезон отходившей байдарки! И едва ли не каждая из этих заплат, словно кнопка, включала воспоминания, связанные именно с ней: как, когда, на каком перекате ваш “Таймень” был пробит корягой или острым камнем, как вода начинала тугою струёй бить сквозь днище и стремительно прибывала меж чёрных, заляпанных глиной и рыбьей слизью бортов, как байдарка кренилась, тонула и как в суете начинались аварийно-спасательные работы. А потом, насквозь мокрые, но возбуждённые неожиданным приключением, мы принимались заклеивать рану байдарки. Труднее всего высушить днище, и если нас угрозило пробить лодку в дождь, то её ремонт становился нелёгкой задачей. Немало израсходовано зажигалок, чьим огоньком мы пытались прогреть, просушить края влажной пробоины; немало резины изрезано и клея изведено, чтобы лодка получила на днище — словно орден на ветеранскую грудь — очередную заплату. Приходилось пускать на заплату даже голенища сапог — а что делать? Лодка была нам важнее, чем обувь: сплавиться, в конце концов, можно и босиком.

И вот в такую заслуженную, пёструю от заплат “шкуру” мы вставляли трубчатые каркасы — и старая, слежавшаяся за зиму оболочка словно делала вдох. Она расправлялась, натягивалась до барабанного звона — и на сухой траве дуга лежала уже не груды дюралевых трубок и смятая “шкура”, а вытягивалось тело стройной и будто летящей байдарки...

О байдарках я могу рассказывать долго, поэтому самое время переложить рули и вернуть разговор в основное русло. То, что лодка есть настоящей дом, я впервые осознал на Соловках, в музее северного мореходства. Перед входом в музей лежала шестиметровая шняга — традиционное судно поморов для рыбного промысла и добычи морского зверя. В шняге поражало многое, начиная с досок бортов, которые были сшиты “вицами”, то есть корнями ели. И ни штормовые волны, ни ледяные торосы ничего не могли сделать с такими, “на живой корень” смётанными, бортами: даже затёртая льдами, шняга выдавливалась поверх льдин.

Но меня восхитило другое: своеобразные кров и очаг, придававшие шняге сходство именно с домом. Ведь промысел длился недели и месяцы,

и четверо мореходов, из которых обычно состоял экипаж, должны были на этой лодке круглосуточно жить — среди всех ветров и дождей, и пучин, и течений, и волн ледяного Белого моря. Так вот, очагом здесь служил ящик с песком, на котором разводился костёр для приготовления пищи — полбы или гречки с варёной треской, — а укрытие от дождя и ветра представляло собой деревянный настил в носовой части шняки, в щель под которым можно забраться от силы троим. Четвёртому места в “спальне” не полагалось: он должен нести вахту.

И вот это судёнышко — поморская шняка, столь утлая с виду, — спасало людей в самых жёстких условиях, какие только можно представить: в дни штормов, налетающих снежных зарядов, посреди стад ревущих моржей или белых медведей, глядящих со льдин на скользящую мимо них шняку. Вот уж воистину, то был ковчег — плавсредство спасения там, где человек непременно был должен погибнуть.

V

Но, как писал Лао-цзы: “Путешествовать не обязательно: лодки и колесницы жаждут покоя”. Вот и мои лодки и колесницы — те, что хранились в сарае у дома, — видимо, жаждали отдыха и покоя. Он для них и наступил, когда я, находившись-наездившись по белому свету, решил, что пора всерьёз и надолго возвращаться домой.

Впрочем, такое мудрое решение я принял не от большого ума, а, скорее, от большой глупости. Нелады с позвоночником у меня случались и раньше: ещё в легкоатлетической юности я сорвал спину, и на всю жизнь позвоночник стал моим большим местом. И хоть с серьёзным спортом я вскоре растался, но и работа хирурга, и многочисленные путешествия здоровья спине, конечно же, не прибавляли. Но долгое время я относился к собственному телу с таким легкомыслием, которое переходило почти в слабоумие: я таскал рюкзаки, чуть ли не превосходившие мой собственный вес, спал на земле в холода и дожди, мог с утра до ночи махать вёслами и вообще изнурял себя так, словно собственный организм был мне не другом-помощником, а соперником или даже врагом. И если рассматривать тело, как дом, в котором живёт душа человека, то домохозяйном я был никудышным: чего только не натерпелся мой дом от меня!

И случилось, в конце концов, то, что и должно было случиться: спина отказала. Очередной одинокий сплав по реке Пополте (я всё больше любил путешествовать в одиночку) и нагрузки, неизбежно с ним связанные, вдруг в одночасье (а точнее сказать, за секунду) превратили меня из активного крепкого мужика почти в инвалида. Не буду подробно описывать, как всё это происходило — дело дошло и до операции, которая, увы, не помогла, — как я сутками лежал на полу, не в силах пошевелиться от боли, и как потом заново, с костылём, учился ходить.

И дальним походам с тех пор было сказано твёрдое “нет”. Наступил новый этап моей жизни: походив и поездив по белому свету, я возвратился домой. Это итоговое возвращение было в то же самое время и возвращением к себе. Уже одно то, что я, наконец, совпал со своей редкой фамилией, сделало меня ближе себе самому. Ведь раньше я как бы обманывал всех: какой там “Убогий”, когда я подвижен, вынослив и крепок? И эта печать неосознанной лжи в отношениях с миром, затаившись где-то внутри, заставляла меня чуть ли не презирать себя самого. Зато, когда я действительно стал таким, каким — по фамилии — должен был быть, я почувствовал облегчение: ведь теперь я мог честно смотреть людям и миру в глаза. Уже за одно это — за снятие груза неправды в отношениях между мною и миром — я благодарен недугу, который свалил меня на пол два года назад.

Но и кроме такого, быть может, смешного для окружающих, но для меня очень важного примирения с собою самим, в болезни открылось немало хорошего. Так, поскольку мой мир надолго стал ограничен квартирой и самым ближайшим её окружением, я стал внимательнее к тем вещам, которых раньше почти не замечал. Где уж мне, устремлённому в дальние дали, было

подробно рассматривать то, что находилось на расстоянии вытянутой руки? Быть может, впервые после самого раннего детства (когда я был почти столь же беспомощен), я снова рассматривал комнату, мебель и окна, балкон и весь дом, где я жил, с подробным и вдумчивым интересом первооткрывателя.

Что же я видел в те дни и ночи, когда лежал на полу? Чаще всего — буфет: он стоял у меня в головах — и, когда я поднимал глаза вверх, то надо мной нависал как бы целый готический город. Он казался не просто большим, а огромным, едва ли не превосходившим в размерах квартиру и дом, внутри которых он находился. Вообще, удивительный этот эффект — то, что некая вещь при внимательном взгляде превосходит саму себя, — наблюдался во время болезни нередко. Так, собственное тело, которого прежде я почти не замечал, в дни недуга расширилось и усложнилось, и мне приходилось чуть ли не заново знакомиться с ним, как путешественнику приходится узнавать быт, обычаи, нравы незнакомой страны.

Но вернёмся к буфету. Он достался нам от прежних хозяев. Поначалу, в дни переезда, он казался нам вообще не нужен и использовался лишь как подставка при малярных или обойных работах. Громоздкий, заляпанный краской, он казался дремучей архаикой, доисторическим пережитком, которому место на свалке. И мы — вот ведь глупцы! — его чуть было не выбросили. Но отвёл, как говорится, Господь, и мы догадались отдать буфет на реставрацию. Мастер ничего особенного с ним и не сделал, он лишь почистил его, зашлифовал царапины да покрыл дерево свежим лаком. Но буфет зажегся, ожил, словно проснулся от долгого сна, и теперь глаз было не отвести от его мерцающих стёкол и древесных узоров, от коричневых лаковых граней, от всей его благородной архитектуры.

Именно архитектуры, потому что буфет представлял собой целое здание — сложный, таинственный замок внутри нашей квартиры. Дверцы буфета казались воротами в сказочные пространства. А ведь буфет ещё и отзывался тебе мелодичным, чарующим звоном; этот звон, исходивший от горок посуды, стоявшей за стёклами, означал, что буфет тебе рад и готов тебя встретить. И как только ты распахивал дверцы, сразу чувствовал тонкое благоуханье буфета. Это был целый букет, где были запахи дерева и столярного лака, запах кожи (в чёрном футляре лежал театральный бинокль) и запах крымского можжевельника: подставка под чайник, привезённая из Коктебеля лет двадцать назад, до сих пор дышит летом и зноём.

Буфет всегда так притягателен, что, например, наши дети, Дима и Даша, покада не выросли, очень любили забираться в нижний этаж буфета, где хранились бельё и одежда. Так мы и знали: если вдруг смолкли вопли детей, то они, скорей всего, скрылись в буфете.

А какая отрада хозяйке, когда у неё есть старинный, вместительный и величавый буфет! Кажется, что и сама семейная жизнь становится благодаря ему прочнее. В известном смысле, буфет — центр семьи. Про детей, для которых он своего рода дом внутри дома, я уже написал; но и хозяйка едва ли не самое ценное помещает в буфете. Тут и парадная, на торжественный случай, посуда, и какие-нибудь оставшиеся от предков реликвии — серебряный ли подстаканник или старинная рюмка, лорнет или сломанный веер, красивый флакон от духов или что-то ещё, что рука не поднимается выбросить. Да и настоящие ценности тоже нередко хранятся в буфетах. Где прячут хозяйки — от детей и воров — шкатулки с серёжками, кольцами и ожерельями? Ясное дело, в буфете, где-нибудь в тёмной его глубине, подальше от глаз и от рук; хотя, конечно же, все — и дети, и воры — прекрасно знают, где эти самые драгоценности нужно искать.

А если в семье есть старик, что согреет его? Возможно, что лучшим временем суток для старика будет тот предобеденный час, когда он (сопровождаемый, может быть, укоризненным взглядом невестки) распахнёт дверцы буфета, достанет оттуда пузатый графинчик и подрагивающей рукой нальёт себе рюмку целебной настойки. Потом он помедлит, вздохнёт, рассеянным взглядом окинет внутренности буфета и, подняв рюмку, негромко скажет:

“Ну, будем...” — словно чокаясь с этим буфетом, как с последним и верным товарищем, потому что все прочие, с кем старик выпивал и закусывал в жизни, ушли от него далеко...

Буфет высился у меня в головах, а в ногах располагалась балконная дверь. Эта дверь и балкон, на который она выводила, тоже были важнейшей частью жилища. И если буфет служил выходом как бы в сказку, то балкон являлся действительным выходом в мир. И когда нужно, скажем, узнать, какова там, в большом мире, погода? — именно на балкон мы выходим, чтобы взглянуть на небо, на его синеву или мглу, и протянуть руку, определяя: не моросит ли дождь?

А уж в дни болезни, когда ты заключён в стенах квартиры, как узник в тюрьме, балкон служит бесценным подарком: возможностью, не покидая жилища, всё-таки выйти из дома. На балконе ты находишься одновременно внутри и вовне, принадлежишь дому — и миру, который его окружает. Скажу больше: посидев на балконе, я чувствую, как я одновременно живу, соучаствую в жизни, но уже нахожусь словно вне её напряжённо-живого потока. На балконе я ещё есть, но меня уже как бы и нет: я присутствую в мире лишь взглядом и мыслью, но уже не активным физическим телом в ряду других тел.

И вот этот эффект балконного созерцания, опыт существования и не-существования одновременно есть один из глубиннейших опытов жизни. Это, по сути, движение в сторону той индуистско-буддийской нирваны, которая также есть странный гибрид бытия и небытия, пребывание в зазоре меж жизнью и смертью.

С каждым годом, теряя энергию жизни, всё острее чувствуешь: жить тяжело, а совсем отказаться от жизни пока ещё стыдно. И выход из этого тупика располагается там же, где и балконная дверь. Нет сил жить? Посиди на балконе, посмотри на деревья, на небо, на крыши домов, на людей, что шагают по тропам двора, на шумливых дроздов, обленившихся крону рябины, или, если дело зимой, на синиц, что снуют среди голых ветвей, и тебе станет легче. Ты почувствуешь: мир прекрасно обходится и без тебя, без твоих напряжённых усилий, потуг и стараний; но если так, то не всё ли равно: изводиться, страдать или просто присесть на балконе, тихо радуясь миру, который лежит перед тобой?

Думаю, вряд ли бы я дотянул до теперешних лет, не будь у меня ежедневной возможности выходить на балкон. Тот эффект отстранения и остранения, взгляда извне, который всего очевиднее проявляется именно здесь, — это как для ныряльщика глоток воздуха перед очередным погружением в глубину.

И многие вещи отсюда, с балкона, видишь иначе. Даже самые заурядно-простые и ежедневные, такие, как, например, чашка чая в руках, и те обретают особенный смысл, когда смотришь на них не затравленно-суетным взглядом, а видишь их медленным, вдумчивым “взглядом балкона”.

Вот сижу на осеннем балконе, попиваю дымящийся чай, смотрю на сады и на крыши, на рыжую линию дальнего леса, на небо, уже поменявшее розовый утренний свет на дневной, голубой, и думаю: а ведь то, что в руках у меня чашка чая, которую я могу пить, никуда не спеша — ведь это же настоящее чудо! Сколько всего должно было сойтись и совпасть, случиться — или, наоборот, не случиться, — уравновесить друг друга, поймать миг гармонии в этом негармоничном, куда-то всё время несущемся мире, чтоб я неспешно сейчас поднимал эту синюю чашку, подносил бы к губам, ощущал во рту терпкую горечь, а после смотрел бы сквозь марево чайного пара на зубчатую, рыжую линию дальнего леса...

Во-первых, должно быть всё более-менее ладно в семье и во всём нашем доме. Родители, дети, жена должны быть здоровы, никакие серьёзные неполадки и ссоры не должны омрачать нашу жизнь, соседи должны быть дружелюбны, а такие спокойные дни, как вы понимаете, выпадают не так уж и часто. Во-вторых, там, где я работаю, не должно оставаться тяжёлых

больных — да ещё, не дай Бог, с осложнениями после моих операций. Какое уж там спокойное чаепитие, когда мысли — в больнице?

Но, допустим, в семье и в больнице наступило временное затишье. А всё ли в порядке в твоём старом доме? Не засорилась ли фановая система, не завожухнулся ли отопительный контур, не капает ли с потолка конденсат, не прохудились ли водопроводные трубы? А ведь дом-то давно уж немолод — он ровесник мне самому — и болеет почти так же часто, как и любой пожилой человек.

Вот ещё, кстати, помеха спокойному, неторопливому чаепитию: собственные болезни. С одной стороны, на здоровье грех жаловаться — на шестом-то десятке я ещё кое-как трепыхаюсь, — но, с другой стороны, я давно позабыл то счастливое время, когда о здоровье не думалось вовсе.

Да ладно здоровье — о нём, в конце концов, можно какое-то время не думать, — а как быть с совестью? Разве можно спокойно пить чай, наслаждаясь прозрачною ясностью осени, когда неспокоен “когтистый зверь, грызущий сердце — совесть”? А ведь совесть-то, по-настоящему, никогда и не может быть ни спокойной, ни вполне чистой, потому что все мы в грехах, как собака в репьях.

Вот и получается, что возможность спокойного, неторопливо-блаженно-го чаепития стремится к нулю. Рассуждая логически, оно просто-напросто невозможно; а, когда оно всё же случается — это и есть настоящее чудо.

Но давайте посмотрим на чайное чудо ещё и с другой стороны. Как много трудилось людей для того, чтобы чашка горячего чая дымилась сейчас перед тобой! Это и сборщицы чая где-нибудь на плантациях Индии или Цейлона, и рабочие чаеразвесочных фабрик, грузчики и водители автомобилей, это железнодорожники и продавцы магазинов, и ещё множество разных людей. А те, кто построили дом и вот этот балкон — разве они не вложили свой труд в сегодняшнее чаепитие? А гончары, что слепили вот эту чудесную чашку? А те, кто стоят, так сказать, на страже чайного ритуала: полицейские и коммунальщики, энергетика и дежурные доктора, управленцы и пограничники, и разные там губернаторы или министры — словом, *вся королевская рать*? Как подумаешь — чуть ли не всё человечество потрудились иль трудится в эту минуту, чтоб ты мог неспешно и благостно выпить вот эту свою чашку чая.

И как же не быть благодарным людям за то, что они тебе подарили? Как не ценить этот дар, как не чувствовать: чашка чая, которую ты сейчас держишь в руке, есть фокус жизни во всех смыслах слова? И фокус как некое чудо, которого не должно было быть, но которое всё же случилось; и фокус как точка схождения множества сил, интересов, надежд и энергий.

Так что, когда вам захочется чуда, не стоит ходить далеко: чудеса всегда рядом. Хотя эта вот чашка с дымящимся чаем, хоть вообще всё, что угодно, на что только упал ваш внимательный взгляд, — это всё чудеса, которых, сказать откровенно, и быть не должно, но которые всё же случились внутри того главного чуда, которое называется “жизнь”.

Чувствую: время спеть оду окну. Но ведь окна, без которых нам трудно представить человеческое жилище, появились не сразу. Самые первые формы жилья — пещера, шалаш и землянка — вполне обходились без окон. И только когда первобытная землянка стала как бы вырастать из земли — сначала всего на два-три венца брёвен, потом в человеческий рост, — тогда-то впервые возникли и окна. Но что это были за окна? Узкие щели в стене, через которые выходил дым очага, через которые подавали милостыню и опрашивали пришедших и которые в холода закрывались (“заволакивались”, отсюда и их название — “волоковые”) или деревянной задвижкой, или бычьей брюшиной, или всего-навсего льдиной. До окон в теперешнем их понимании людям — и их домам — ещё надо было дожить.

Но, может быть, так было только в курных избах России, а в Европе оконный вопрос решался иначе? Ничего подобного. Приходилось мне видеть европейские здания Средневековья — в Сиене, Флоренции, Риме. Их окна напоминали, скорее, бойницы. Через них можно, разве что, выплеснуть на мос-

товую горшок нечистот, но пролезть в эти узкие щели могла бы лишь кошка.

Впервые настоящие окна появились в Венеции, в этом особенном городе, защищённом от внешних врагов водами Адриатики. Там, где люди смогли, наконец-то, широко и беспечно распахнуть окна в мир. Недаром и окна, и стёкла в ту пору — изделия, главным образом, венецианские. Вот и в России широкое окно из трёх стёкол называлось тогда “венецианским”, и мало кто мог себе такую роскошь позволить.

И, конечно же, с появлением настоящих окон жизнь людей переменялась. Можно сказать, их дома наконец-то открыли глаза и взглянули на мир — недаром и слово “окно” происходит от древнеславянского “око”. И как в лице человека самое главное — это глаза, так и главное в комнате — это окно. Конечно, возможна и жизнь без окна (как и без глаз — хоть такое и страшно представить); но вряд ли найдётся тот, кто добровольно согласится жить в безоконном глухом каземате, в подвале, в норе, — жить, по сути, в темнице.

И поэтому всё, что с окнами связано, нам важно и дорого. Ну, вот что бы взять для примера? Оконная рама. Казалось бы, вещь вполне прозаичная: деревянные брусья, соединённые на углах, иногда с крестовиной по центру. Но давайте вспомним школьный букварь, те его первые фразы, с которых мы с вами и начинали своё приобщение к письменной речи. И что ж мы читали едва ль не на первой странице? Да, правильно: “Мама мыла раму”. Но ведь эта простейшая фраза, состоящая из шести, всего-навсего, букв, выражала важнейшее содержание. Если есть мама и рама — значит, есть главное: дом и семья. И значит, в семье царят мир и порядок, ибо вряд ли кто будет заботиться о чистоте рам в семье, раздираемой противоречиями. Так что, произнося по слогам (или нетвёрдой рукой вывода на бумаге) слова: “Мама мыла раму”, — мы озвучивали краткую формулу благополучной человеческой жизни, как бы включали программу счастливого и полноценного существования.

А устройство оконной рамы, особенно рамы с двойными зимними стёклами? Оно ведь вовсе не так примитивно, как это может показаться. Те, кому доводилось ремонтировать дом, вынимая из оконных проёмов деревянные рамы, знают: добротная старая рама — предмет, достойный музея столярного мастера. Особенно восхищают углы — то, как шипы в них входят в пазы, наподобие скрещённых пальцев рук. А если окно не глухое, а открывается? А если в нём есть форточка? Насколько ж сложнее конструкции таких окон, и насколько они уязвимее для различных поломок! То в сырую погоду рама форточки разбухает так, что её не закрыть; то, напротив, в жару рама высохнет, и в её щели проникает не только пыль, но и комары; то после покраски вдруг залипнет задвижка или шпингалет (вот забавное слово!), и приходится молотком отбивать с него белую краску, которая отваливается ломкими глянцевыми чешуями, обнажая блестящий затвор шпингалета, похожий на затвор трёхлинейной винтовки.

А певуче-скрипучие петли окна? А подоконник, на котором так любят сидеть кошки и дети? А межоконное, совершенно особенное, пространство, то есть пространство меж стёкол двойного окна? Оно не принадлежит ни дому, ни улице, но существует в каком-то особом, своём измерении, словно вообще изъят от мира и как бы параллельном ему. Кажется, даже время в том межоконном пространстве течёт по-иному, недаром продукты, которые мы помещали меж пыльными стёклами окон студенческой нашей общаги, так долго не портились — потому что само время как бы забывало о них.

А помните, как было принято ставить меж стёклами плоски с крупнозернистой солью, чтобы стёкла не запотевали? Или — для красоты и для утепления одновременно — меж стёклами настилали слой ваты, на которую сыпали блёстки и новогоднюю мишуру или даже пристраивали ёлочные игрушки, чтоб они тихо мерцали меж стёкол до самой весенней капли?

Да, чуть не забыл: ведь окна на зиму заклеивали! То есть заклеивали, разумеется, не сами окна, а щели меж рамой и оконной коробкой. И эта заклейка окон, приходившаяся, как правило, на “ноябрьские” — праздничные и обычно холодные дни начала ноября — была для городских жителей

такой же привычной сезонной работой, как для крестьян — вспашка зяби или сев озимых. С оклейки окон, по-настоящему, и начиналась городская зима: с подъёмами в школу ещё в темноте, с чёрными языками заледенелых луж на тротуарах и со злым, пыльным ветром вдоль улиц — ветром, от которого щёки немели, а глаза начинали слезиться.

Заклейка окон всегда привлекала. И полоски бумаги, которые надо аккуратно нарезать, соизмеряя их с шириною щели меж рамою и коробкой окна — полоски поэтому выходили то шире, то уже, — и миска тёплого клейстера с серыми слизистыми комками ещё непротёртой муки, и квач из ваты, намотанной на карандаш, и скользкие мокрые пальцы, которыми разглаживались бумажные полосы, — это всё было так интересно, что ты всегда вызывался участвовать в этой уютной домашней работе. В комнате сразу делалось сыро, тепло — даже окна потели! — и вкусно пахло хлебом от миски клейстера. А потом, когда клей просыхал, полосы бумаги натягивались, становясь барабанно-тугими — и было приятно стучать по ним ногтем.

Но всё, про что я написал, — про раму и про шпингалеты, про межконную вату и про заклею оконных щелей — это всё лишь окружение окна. Само-то окно — вот эта прозрачная, гладкая, порой вовсе невидимая поверхность, временами слегка искажающая предметы, которые мы различаем за ним; оно существует, по сути, затем, чтоб его, окна, как бы вовсе и не было. Идеал для окна — быть настолько прозрачным и чистым, чтобы солнечный свет без малейших помех, искажений, потерь проникал сквозь него.

А виды из окон? Ведь они принадлежат дому не в меньшей степени, чем, скажем, стены и кровля. Если дома одинаковы, как две капли воды, но из окон одного видна свалка, а из окон другого — лес или озеро, то и цены, и ценность этих домов будут очень различны.

Прекрасный писатель Олег Базунов как раз в повести, посвящённой окну, точно заметил, что даже из одного-единственного окна, даже в одно время суток и в одинаковую погоду видов бывает множество. С подоконника или из глубины комнаты, с правого или левого края окна, с кресла, в котором сидишь, с дивана или с пола ты увидишь различные сочетания крыш, деревьев и неба. А погода, которая в наших краях всегда разная, и, соответственно, разное освещение, соотношение света и тени, прозрачности воздуха и прозрачности стёкол окна? А времена года, которых у нас много больше, чем четыре календарных сезона? Что общего у конца, скажем, марта, с его проталинами, капелью, жёлтой россыпью мать-и-мачехи на оттаявшем склоне и первыми бабочками-лимонницами, и у середины мая, когда в изобильной зелени сада по утрам слышна флейта иволги, а по вечерам сочно щёлкают соловьи? А ведь то и другое — весна.

Не забудем ещё и о времени суток, когда с каждой минутой меняется положение небесных светил — и освещённость того, что лежит перед нашим окном. То в кромешные ночи не видно ни зги, и в глади стекла отражается только внутренность комнаты и лицо человека, что смотрит в окно. И получается, что окно глухой ночью глядит не наружу, а внутрь... То в солнечный полдень видно так много предметов, оттенков, деталей, что ты поражаешься: до чего же богат и подробен лежащий за окнами мир...

Есть и ещё важный момент, относящийся уже к нам, созерцателям. Ведь от нашего собственного состояния — нашего зрения и самочувствия, нашего настроения, интереса или безразличия к миру, в который мы смотрим, — зависит всё то, что мы в этом мире увидим. А состояние наших чувств и ума едва ли не изменчивее, чем погода.

Вот и выходит, что один и тот же наблюдатель, глядя в одно и то же окно неподвижно стоящего дома, в каждый очередной миг созерцания воспринимает различные виды. Ибо время течёт непрерывно, и в этом потоке меняется и человек, и погода, и время суток вместе со временем года; иными словами, живи хоть тысячу лет, и все эти годы простой у одного-единственного окна, и ты не увидишь и двух одинаковых, до мелочей совпадающих видов. В законные виды, как в Гераклитову реку, нельзя войти дважды,

и уже одно это делает нашу жизнь у окна бесконечно богатой и интересной.

А уж до чего хорош вид, открывающийся из моего окна — того, перед которым пишутся эти строки, — трудно даже и передать. Вот ближний план: двор с деревьями — берёзы и липы, канадские клёны и вяза за полвека так разрослись, что образуют целую рошу; вот заборы, сараи и крыши погребков, вот соседские куры, копающиеся в пыли, вот, словом, черты почти деревенского быта. Слева — кроны садов, которые зимой утопают в снегах, а в пору цветения сплошь бело-розовые и дрожат от пчелиного гула. За садами — больница, её корпуса мне привычны с детства. Возможно, что именно близость больницы — тяжёлого, смутного мира, где маются души безумцев, — заставляет меня так ценить здравый смысл и порядок обыденной жизни.

Средний план законных пространств — это поле, на котором видишь то футболистов, гоняющих мяч, то пасущихся коз и коней, то жителей ближних домов, которые выгуливают на поле собак. Причём мало того, что поле просторно само по себе; но с него открываются очень широкие, вольные виды. Поверх деревенских крыш взгляд уходит к востоку — к тем перелескам, полям и оврагам, что лежат меж Калугой и Тулой. И поэтому к видам, которые открываются из самого окна, я порой мысленно добавляю и те, что открыты с ближнего поля, и это сложение видов делает мой законный обзор ещё шире.

Но это не всё. За полем — бетонный забор, за ним — снова поле, а за этим вторым (и почти мне невидимым) полем — двухэтажные домики недавно построенной заводской слободы. Жизнь пока не наполнила их — по ночам в тех домах горит всего несколько окон, — но хочется думать, что людям, которые там когда-нибудь непременно поселятся, будет так же отрадно смотреть издали на окна нашего старого, утонувшего в зелени дома, как мне ныне приятно рассматривать желтизну этих новых фасадов.

Но и это не всё. За домиками заводской слободы высятся трубы промзоны. По ночам, когда из них валит пар, они представляются великанами, чьи седые косматые гривы растрёпаны, а глаза-фонари воспалённо горят в темноте. Взгляд этих глаз когда-то встречал меня, мальчика, возвращавшегося с поздних легкоатлетических тренировок; сопровождал меня, молодого врача, бредущего к дому после тяжёлого дня, проведённого в операционной; а теперь тот же взгляд провожает меня, хромающего с костылём по дорожкам больничного парка. Почти вся моя жизнь прошла перед этими трубами, под их строгим и неусыпным надзором. Кто знает: не будь этих труб, быть может, и жизнь повернулась бы как-то иначе?

Но слава Богу, что всё было именно так, как оно было. И слава Богу, что из моего окна открывается именно одновременно простой и богатый своим содержанием вид. В нём представлен, по сути, весь человеческий мир: его погребка и сараи, сады и заборы, деревья и птицы, леса и поля, жилые дома, больничные корпуса и строения промзоны. И ещё в этом виде неизменно присутствует небо. То хмурое и беспросветное, то ослепительно синее, то покрытое россыпью перистых облаков, то гроздящее горы облаков кучевых. Без неба всё то, что мы видим из окон, совершенно потеряло бы смысл, как и жизнь человека потеряла бы смысл без того, что её, эту жизнь, превышает. Лишь под небом, в присутствии неба мир становится именно тем, чем он должен быть.

Дом никогда не стоит один, словно перст, среди чистого поля; всегда рядом с ним какой-никакой, а имеется двор. Взять хоть монгольскую юрту — уж на что бы, казалось, кочевому жилищу обзаводиться двором? — но даже и дом степняка окружает обжитое пространство. Там, глядишь, дремлет верблюд; там лежит ворох хвороста; там задирает оглобли телега; в костерке тлеет кизяк или арагал, — словом, вокруг кочевого жилища безбрежная степь обретает иное — как бы очеловеченное — лицо.

А что есть двор, как не очеловеченный мир? И как разнообразны культуры и цивилизации нашей планеты, так же точно разнообразны дворы: от азиатских степей до мегаполисов, от занесённых снегами сибирских зимовий до плоских крыш мусульманского юга — тоже своеобразных дворов.

Одной из вершин дворовой культуры является итальянский двор-патио. Если б не эти чудесные дворики, в теснинах средневекового города вообще нельзя было б жить. Но итальянцы сумели превратить небольшие пространства между домами как бы в уютные комнаты, где вместо потолка видишь счастливое южное небо. Открытой земли там, как правило, нет — двор, как и улицы, вымощен камнем, — зато в кадках стоят апельсиновые или лимонные деревья, наполняющие воздух своим ароматом и дающие тень, в которой так сладко бывает предаться любимому делу Италии — *fare niente* — безделью.

Нашим русским дворам до итальянских патио так же далеко, как и нашей обыденной жизни — до рая. Впрочем, русский двор — понятие очень широкое. Одно дело — двор северный, где хозяйственные постройки сведены в одну связь, то есть крыты единою крышей, и где вокруг дома есть гульбище, по которому можно пройти в непогоду. Другое дело — двор безлесного русского Юга, огороженный вместо забора насыпью-тыном или плетнём, двор, открытый и ветру, и солнцу и так истолчённый скотиной и птицей, что даже травка гусятник не может покрыть его пыльных проплешин.

А двор городекой? Ведь это явление даже не столько хозяйственно-бытовое, сколько социальное. Городекой двор когда-то представлял собой аналог крестьянского “мира”, той совокупности рядом живущих людей, которых объединяет, помимо пространственной близости, общность мировоззрения, образа жизни, судьбы. Правда, мир городского двора, тем более мир крестьянской общины — уже архаика. При современных многоэтажках дворов нет совсем, есть лишь промежутки, уставленные автомобилями. Тем с большей нежностью я смотрю из окна на наш бушмановский двор. Это двор настоящий, классический, с погребками и сараями, с бельевыми верёвками, с клумбами, с кошками, которых собаки загоняют на стволы клёнов и лип, с петушиными криками на рассвете.

Главную ценность двора возле нашего дома составляют деревья. Ближе всех к дому — его ветви почти ложатся на крышу — старый вяз. Сейчас он по-зимнему гол — только рыжие пятна лишайников покрывают серые ветви и ствол, — но зато ясной осенью, в солнечной бронзе листы, этот вяз кажется памятником самому себе.

Рядом с вязом — берёза. Она тоже старая, часть ветвей высохла, зато на ней, как и положено, висит накренившаяся скворечня. Это, что называется, русская классика: какой же двор без берёзы, скворечни на ней и без жужжащего свиста скворцов где-нибудь в середине апреля, когда снег уже весь сошёл, когда над сараями и погребками порхают лимонницы, а небесная синева так густа, что она, кажется, вот-вот начнет стекать вниз по берёзовым, подширающим эту синь веткам?

Прямо против подъезда — два больших клёна. И самое, может, красивое, чем нас радует осень — это зрелище ярко-багряных, пылающих клёнов. Эти костры загораются каждую осень и у нас во дворе: только в них отчего-то с годами всё меньше огня, и всё больше жёлтого — тоже, впрочем, прекрасного — цвета. Или деревья, как люди, с возрастом остывают, и им всё трудней вспыхнуть огненно-ярким багрянцем?

Хороши клёны не только осенью, но и в разгар лета. Помню, как я ещё юношей был поражён, когда, встав под клёном и запрокинув голову, увидел над собою шатёр, полый лиственный купол, плотно покрытый узорными листьями, как черепицей. И я впервые подумал тогда, что дерево — тоже своего рода дом. В нём есть и фундамент — система корней, — и опоры — ствол, сучья, ветви, — и кровля из листьев, и даже трубы водоснабжения, — словом, почти то же самое, что есть в человеческом доме. Только дерево куда совершеннее, чем любое наше жилище: оно само себя и кормит, и починая, и строит.

Мы, люди, настолько уверены во всеобщей и безусловной ценности дома, что пытаемся даже для птиц, насекомых, животных тоже строить дома. Посмотрите: скворечни, конуры и ульи испокон веку окружают наши собственные жилища. И, что ещё удивительней, всякая-разная живность, от нас столь отличная, соглашается жить в этих самых домах.

Так, я каждый апрель наблюдаю, как за скворечник, висящий на старой берёзе напротив моего окна, идут настоящие битвы. Вот и нынешней затаяжной, холодной весной вокруг деревянного домика крутились две пары скворцов, и ни одна не хотела уступать жилплощадь. Птицы поочерёдно, а то и одновременно подшаркивали к скворечнику, толкались на узенькой полочке перед летком, хлопали крыльями, отгоняя друг друга, а уж что там, внутри, делали сразу четыре скворца, я не могу даже вообразить. Потом один из скворцов отступился, но напарник его (или, может, напарница — я их не различаю) продолжал тяжбу за дом. И мне даже стало казаться, что сложилась семья из трёх птиц — интересно, бывает такое? — но, в конце концов, третий всё же почувствовал, что он лишний.

Отвоевав, наконец, жилплощадь, новосёлы — совсем, как мы, люди — занялись генеральной уборкой квартиры. Это выглядело забавно. Скворцы вытаскивали из своего домика пучки старой прошлогодней травы, садились на толстую ветку и начинали, тряся жёлтыми клювами, выколачивать траву о дерево. Было видно, как от травы летит пыль — точь-в-точь, как от наших половиков. Выколотив травяной пучок, птицы затаскивали его обратно в скворечник — и появлялись наружу с новой порцией пыльной травы. Мне хотелось им посоветовать: “Ребята, да бросьте вы это старьё! Вон, сухой травы вокруг сколько угодно!” — но скворцы, как порою и люди, жалели расстаться со старою и хорошо послужившею вещью.

Немного спустя возник новый повод переживать за моих пернатых друзей. Видимо, к этому времени состоялась кладка яиц, потому что вороны и галки то и дело подсаживались к летку и пытались просунуться внутрь. Но, к счастью, скворечник был сделан грамотно, и леток пропускал только скворцов, так что охотники до их яиц оставались, что называется, с носом. Но всё равно было тревожно смотреть на эти попытки разбойных вторжений и представлять, каково же скворчихе, греющей кладку, видеть щёлкающие над её головой клювы жадных врановых птиц?

В конце концов, галки с воронами отступились, но на скворцов навалились новые хлопоты: надо было кормить детвору. Вот они и шныряли из скворечника в сад и обратно, таская в клювах гусениц и червяков. А голодный, нетерпеливый щебет скворчат уже был слышен и мне, и наполнял меня сложной смесью сочувствия и восхищения этой юной, пока что невидимой, но такой осязательно-напористой жизнью. Бывало, я даже представлял себя на их, скворчат, месте — в тесно-пыльном уюте и сумраке шевелящегося гнезда, в нетерпеливом ожидании того, как в конусе света вверху вдруг появится материнский или отцовский клюв с очередной порцией корма — и думал: а как, интересно, птенцы воспринимают скворечник, в котором они родились? Есть ли у птиц то чувство дома, которое есть у меня?

Наверное, есть. Иначе не стремились бы перелётные птицы на родину, к своим старым гнёздам и старым скворечням, и не одолевали б на этом пути тысячи километров и сотни невзгод. Значит, и копошащиеся в скворечне птенцы как-то чувствуют, что весь этот сумрак и теснота, и шершавые стены из досок, и подстилка из шелестящей травы — это есть их родимый, единственный дом. Должно быть, они ощущают, что вот есть они, скворчата, есть некий мир вне скворечни — тот мир, где завывает ветер, шумят деревья, льёт дождь, мир, откуда их мать и отец приносят им пищу — а между птенцами и внешним миром есть некий посредник — их дом. Это уже не они, не скворчата, но ещё не вполне внешний мир: скворечник гораздо теплее и ближе, понятнее и безопасней, нежели то, что бушует и воет снаружи.

Но ведь именно так воспринимаем дом и мы, люди. Для нас это тоже посредник меж нами и миром; это то, что, при всей объективности и предметной реальности, несёт на себе отпечаток неуловимого и эфемерного — нашей души. Можно сказать, как весь видимый мир есть эманация Бога-Творца, его приблизительный и незавершённый портрет, так и дом человека, обжитый или построенный им самим, есть ступень его воплощения в мире.

Но если скворечни сравнить с человеческим домом можно только с большою натяжкой, то собачья конура для такого сравнения гораздо уместнее.

Недаром и люди про своё жилище порой говорят: “Моя конура”. Да и окрестности конуры — эта пыльная вытоптанная площадка у входа, эта миска с обедками, эти старые тряпки и кости, валяющиеся там и сям, порою напоминают двор затрапезного дома.

Конечно, конура — это карикатура на человеческое жилище; и залезть в неё способен разве юродивый. Но с другой стороны, кто из нас в детстве не заглядывал в конуру, к тому Тузику, который, ворча и волнуясь, переживал наше вторжение? И кому не хотелось залезть в конуру — в её густопсовый, пахучий, таинственный сумрак?

Сам я, хоть целиком в конуре не бывал, но внутри-то, конечно, заглядывал, особенно если надеялся разглядеть там щенков. Вот тоже чудо — щенки. Какою облезлою, страшной, изношенной выглядит сука, родившая их, и до чего же милы, уморительны и жизнерадостны эти создания! На их потасовки и игры, на то, как они, жадно чавкая, ищут соски измученно рухнувшей рядом с будкой матери, — на всё это, кажется, можно смотреть бесконечно. Им, щенкам, так счастливо и самозабвенно катающимся в пыли или грызущим старый мосол, им бессмысленно объяснять, что их-де конура и ветха, и грязна, что она полна блох и тяжёлого запаха псины. Для щенков конура всегда — рай. Это место уюта, тепла и защиты: здесь их и накормят, и обогреют. А если враг подойдёт слишком близко, то, кроме стен конуры, защитой будет служить угрожающий рык их матери — рык, перед которым спасует любой, будь он ростом хоть с тигра.

Жаль, что щенки — как и дети — слишком быстро растут, что судьба отвела им так мало блаженного времени детства. Каких-то всего лишь от силы полгода — и прощай, конура! Прощай, тёплый сумрак и сытая дрема, прощайте, братья и сёстры, прощай, беззаботность — и здравствуй, собачья жизнь... Ещё хорошо, если подросший щенок будет жить при хозяевах — и у него, может статься, со временем даже появится собственная конура. А если ему на роду написано быть бродячей, бездомной собакой? Да, горек хлеб изгнанника, как написал Данте, — тоже бродяга, которого, как бездомного старого пса, судьба выгнала из любимой Флоренции и заставила умереть на чужбине.

Впрочем, мы все изгнанники — если вспомнить о грехопадении и об изгнании наших предков из рая. Мы все скитаемся в мире и в собственной жизни, как бродяги и чужеземцы; и все мы лишь грезим о том, что когда-нибудь сможем вернуться домой...

А ульи — эти дома-общезития пчёл, которые человек построил по образу диких дупел, но придал им черты именно человеческого жилища? Улей — как и скворечник, и конура, — это настоящий маленький дом со стенами, с крышей, со входом-летком — дом, в котором клубится густая пчелиная жизнь.

Пчелиные ульи и всё, что связано с ними, составляют мои изначальные — во всех смыслах медовые — воспоминания. Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пчелы: запах холодного дыма, вошины и рамок — тех самых, что косо висели в сарае, на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медлителен и молчалив: таким и должен быть глубокий старик, тем более, пасечник. И я его, помню, любил, хотя откуда мне, пятилетнему, знать, что такое любовь? Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака, и подышать тем особенным запахом дыма и мёда, который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.

Прадед в неё, вечность, скоро и ушёл; я же остался жить в мире временном и несовершенном. Но пчелы, о которой я нет-нет, да и вспоминаю, — синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь, — создают для меня как бы мост между жизнью и райской вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое

или в будущее устремляется внутренний взор, когда мысли о пасеке вновь посещают меня?

Порой думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город, со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размноженья откроется мне, поразив, и уже не впервые, таким сходством с людской, в суете и трудах протекающей жизнью. Я выну тяжёлую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны, и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. “Ну, помру так помру, — как-то очень обыденно, просто подумаю я. — Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся: что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взяток нынче хороший — в такое-то славное лето не жаль и уйти...”

Ну, а последний дом? Он называется так удивительно ласково — именно, что по-домашнему — домовина...

А ведь в смерти есть и своя ласка. Иначе не написал бы поэт Баратынский о ней: “Ласкаешь тою же рукою ты властелина и раба...” И Франциск из Ассизи не обращался бы к ней: “Сестра моя смерть...” Если уходить вовремя, да ещё без особых телесных или душевных мучений, — а такое бывает! — то нельзя, я уверен, не испытывать чувства снятия долга и гнёта, того долгожданного облегчения, что выражают слова псалма: “Ныне отпускаеши...” Путь пройден, урок жизни исполнен, сил не осталось, так что же можно испытывать, кроме радости и облегчения, оказавшись именно там, куда шёл с колыбели?

При разговоре о последнем пристанище человека слово “гроб” как-то даже и не ложится в строку: уж очень оно режет ухо. “Домовина” — куда как приятнее. “Гроб” — это для атеистов и циников, которые думают, что смерть заколачивает последний гвоздь в их существование, потому-то и слово так грубо и кратко, а вот “домовина” уже своим мягко дрящимся звуком обещает какую-то даль впереди.

И посмотрите, как странно относятся люди к последним прибежищам тел. Казалось бы, уж такой уравнитель и демократ, как *сестра наша смерть*, мог бы сравнивать и последние наши дома. Ан нет! Как различны людские жилища, так различны и ящики, в которых покоятся мёртвые наши тела. Бомжей — тех, кого складывают в безымянные номерные могилы, — вообще хоронят в пластиковых пакетах; но и самый простой гроб бедняка весьма отличается от погребального саркофага какого-нибудь египетского фараона.

Да это саркофаг! Разве роскошные лаковые гробы чуть ли не с освещением, холодильником и телевизором, в которых хоронят богатых людей, — разве они не являют собой трагикомическую попытку передать туда, где всё будет иным, нашу земную глупость и жадность? Впрочем, сам-то мертвец ни при чём; это его богатые родственники пытаются таким образом успокоить самих себя — пытаются даже перед лицом смерти сохранить те иллюзии и тех кумиров, которым они поклонялись всю жизнь. Ведь похоронить богача, как последнего нищего, — это значило бы признать, что и он, собирая богатства, жил зря, и те, кто сменили его, живут тоже напрасно и будут полностью разорены, когда смерть постучится в их двери.

Насколько честней и достойней, к примеру, индусы — от них после кончины остаётся лишь пепел, который незачем и хоронить: достаточно бросить его в воды Ганга. Или те правоверные мусульмане, которые носят саван-тюрбан на своей голове, чтобы после кончины успокоиться в нём, как уставший кочевник в палатке.

Воистину, сколько на свете разных культур и народов, едва ли не столько же и погребальных жилищ. Многие, кто бездомными жили, так бездомными и отбывают *ad patres*; бедняки, проводившие дни своей жизни в лачугах, в лачугах-гробах и уходят под землю; люди гор, укрывавшиеся в каменных саклях, получают подобные склепы и после смерти. Солдаты, которые жили

общеею жизнью и пали общеею смертью, находят последний приют в братских могилах. Усыпальницы и саркофаги, склепы, саваны, погребальные урны, египетские бальзамические бинты, костры древних славян или современных индусов, корабельные “койки” с подвязанными к мёртвым лодыжкам колосниками, пещеры-костницы горных монастырей, башни молчания зороастрийцев — всё это разные виды смертных жилищ.

Но коль уж мы русские и православные, нам не уйти от родной домовины. Оно и хорошо: куда и прийти в гости к мёртвому, как не на кладбище, не на погост под рябинами или сиренью? Мёртвым-то, ясное дело, уже всё равно, где, в каком виде и как будут ждать Суда их тела; а вот тем, кто пока ещё жив, важно чувствовать: смерть не лишает нас дома — напротив, она-то, быть может, приводит к нему.

И вот именно тихое сельское кладбище позволяет почувствовать смерть как пристанище, как последний приют. То, чего в жизни так не хватало, — покой, тишина и свобода от тяжкого груза долженствования — изобильно и щедро наполняет собою здесь всё: ограды и плиты, кресты и дорожки, венки, фотографии, надписи, даже стаканы на маленьких столиках возле могил. Душа чувствует: именно здесь её встретит желанный и долгожданный покой. Потому-то всегда так и тянет на кладбище — побродить меж могил и неспешно подумать о жизни, — что ощущение дома вот именно здесь обострится с особенной силой. Этот дом всегда ждёт, он всегда рядом с нами — и слава Богу за то, что никто из нас не останется без последнего, милосердного, всех ожидающего приюта...